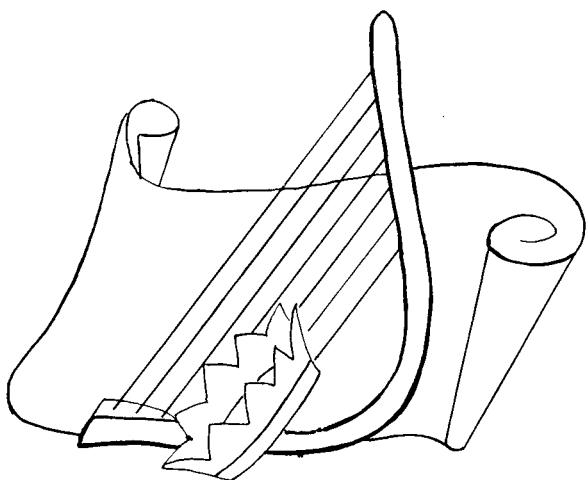


В. Н. Ильин

Арфа Царя Давида в русской поэзии



Брюссель

1960

В. Н. Ильин

АРФА ЦАРЯ ДАВИДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО “ ЖИЗНЬ С БОГОМ ”

206, Авеню де ла Куронн

БРЮССЕЛЬ

Брюссель, 1960

С разрешения церковных властей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий небольшой этюд о Русской поэзии есть сокращенная популяризация большого и серьезного труда посвященного той же теме, также как и ряду других тем, сюда относящихся. Этим тем автор настоящего этюда здесь коснуться не мог по соображениям требований общедоступности. Fecit quod potuit.

Париж.
10 Июля 1960 г.

Автор.

ВВЕДЕНИЕ

ИНОЧЕСТВО — ОСНОВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Издали иногда кажется, что Россия — страна вечной зимы и никогда не прекращающегося холода. Конечно, такой образ — только символ и, притом, символ односторонний, неполный. Весна в России бывает — и роскошная весна, весна раздолье! Недаром ведь Чайковский в своих «Временах года» написал такую сладостную, дышащую отрадой и свежестью пьесу как «Белые ночи» — на слова Фета взятые в качестве эпитафии:

*Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю родной, полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!*

В России однако есть очень много пространств отмеченных вечно мерзлой почвой; и будучи страной больших красот, населенная народом давшим миру много артистов, Россия, тем не менее, никак не может быть признана страной нег и наслаждений. Как в «Запорожскую Сечь», как на Афоне не смеет не то что войти, не смеет к ним даже приблизиться эсеницина, так и к Русскому искусству, к Русской душе нет хода тому, что французы именуют «plaisir» или «douceur de vivre» (радостью жизни, наслаждением жизнью). Россия — страна контрастов, поляризаций, страна жестоких междоусобных идеологических схваток и внутренних непримиримостей...

Но в одном все эти столь непримиримые враги и междоусобные ратоборцы сходятся: их не могут успокоить «сладости жизни» и «счастливые концы» американского и вообще западного стиля. Россия не есть страна дешевого оптимизма, тяготение к скорбным глубинам присуще ей по природе — и когда понадобилось некоторой части русской элиты конца XIX и начала XX в. характерное сочетание эстетизма с культом наслаждения, которое принято именовать не без основания «декадентством», то своего «декадентства» в наличности не оказалось и пришлось за ним съездить на Запад, где оно совсем и не декадентство, но состояние, очень тесно связанное

с гуманитарно-возрожденскими мотивами и полное очарования, благоухающей истомы, которых конечно немедленно убьет « железное дыхание » русской аскетической зимы:

Зима железная завyla
И не осталось ни следа.

« Весна » Боттичелли, в качестве аутентичного произведения Русской почвы совершенно невозможна... И кто знает, быть может эта невозможность для русской почвы « вечной мерзлоты » сделала то, что из пятидесяти молодых людей, посланных Борисом Годуновым на западную выучку не вернулся ни один. Кому в самом деле из рая где воздух « лавром и лимоном пахнет » придет охота вернуться в царство льдов и снега, где дыхание « железной зимы » длится пол года?

Но вот что удивительно: в этом духе отречения от радости жизни есть великая зазывающая сила, отмеченная в « Фаусте » Гёте словами: Ты должен отречься! Отречься должен ты! — *Entbehren sollst du! Sollst entbehren!*

Рихард Вагнер в своей замечательной книге о Бетховене полагает даже, что вся первая часть « Девятой симфонии » Бетховена, композитора, кстати сказать, знавшего соблазны русской напевной красоты, посвящена ужасам этого трагического отречения. За этой частью как известно следует вторая, *molto vivace*, бешенный разгул отчаяния, в котором менее всего можно найти наслаждения и где господствует мотив русской « Камаринской ». Ее ведь от радости в общепринятом смысле слова не затанцуешь...

И уже за этими двумя ужасающими барьерами, которые нельзя кажется и пройти не отдавши, согласно Евангельским словам, « последней полушки », « последнего кодранта » сияет успокоенная радость небесной красоты, но это уже « во блаженном успении вечный покой »... Но за нее то и стоило отдать все « радости жизни »: у Достоевского в бреде Ивана Карамазова, есть такой мотив... за одно мгновение такой радости стоит пройти « квадриллион километров во мраке » — во мраке междупланетного холода, абсолютного нуля... Все эти символы весьма характерные для России, где... зима замораживает всякое « наслаждение ». И не даром ведь и вся « эротика » Александра Блока вдохновлена осенью, зимой, страшной русской зимой — и все заканчивается тем, что « вьюга вздымает снежный крест ». Или вот еще:

На свете все умрет: и мать и младость,
Жена изменит и покинет друг,

*Но ты вкушать учись иную сладость,
Глядясь в холодный и полярный круг.*

*Бери свой челн, плыви на дальний полюс,
В стенах из льда и тихо забывай,
Как там страдали, гибли и боролись,
И забывай страстей родимых край.*

*И к вздрагиваньям медленного хлада,
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи!*

Мы к этим мотивам осенней и зимней любви, замерзающих губ и ледяных слез еще вернемся. Они не чужды и Западу: их знал и умиравший гениальный юноша Шуберт, когда писал свой «*Зимний путь*» (*Winterreise*). Их знал и Данте.

Это значит, что мы пришли, правда в своеобразном разрезе, к теме аскетической, «отрешенной» красоты. Лучшим перлом этой красоты, несомненно, является монашество и, лежащая в основе монашества тайна иночества, стремления стать иным по отношению к посястороннему миру. Мы подошли к теме, где много загадочного и много неисследимых глубин, связанных с тайной образа Божьего в человеке, стремлением «наки обновить образ истлевший страстями». Великий стилист В. В. Розанов наименовал монахов и, вообще, аскетов «людьми лунного света». Этот символический образ, «ведущий образ» связан с устремленностью вдаль, с жаждой необыкновенного, неизведанного, с стремлением

*Шепнуть о том,
Пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец.*

Неопределенность и невыразимость предмета мечтаний и устремлений «людей лунного света» сделали то, что когда им приходится, философски, определять его, то их «метафизика» приобретает черты отрицательные, негативные, «апофатические», как выражаются богословы. Именно приходится говорить о том, для чего нет слов и что скрывается под этим таинственным и глубоким образом. Этот образ и сам требует от нас, чтобы всякий, кто захочет войти в его сферу и вкушать от его красоты несказанной, сам стал миру иным, чужим и чуждым. Такой подход можно и должно назвать «апофатическим», то есть «отрицающим» — в логическом смысле, — и «отрешенным» в смысле психологическом и духовном, в смысле также морального поведения и

своего положения в мире. Но надежда увидеть несказанное, невиданное обычному взору осеняет всякого, кто захочет уйти за предметом своих неопределимых устремлений, за последнюю черту. Всякая метафизическая жажда, удовлетворение которой связано с «полетом в иной мир» (по дивному выражению проф. А. Н. Гилярова) в этом, и только в этом смысле, конечно, может быть названа «романтической» жаждой. Но никогда не надо забывать, что такой «романтик» и «отрешенный идеалист» твердо убежден и особым образом твердо знает, что «там» есть нечто бесконечно более «реальное» и «крепкое» и непреходящее сравнительно с «преходящим образом века сего». Устремляющийся по ту сторону жаждет того, что можно назвать «истинным» или «подлинным» бытием.

По мнению того же В. В. Розанова, который был и острым замечательным мыслителем, есть общее между монашеством и состоянием женихов и невест с их «платонической» и так сказать «беспредметной» влюбленностью. Это состояние, которое Зиммель назвал «музыкальной религиозностью» и которым объясняется преимущественная и таинственная связь религии и музыки, и, связь музыки с неудовлетворенной жаждой вечного и бесконечного. Все что Запад знает под именем цикла сказаний о «Рыцарях круглого стола», о Тристане и Изольде, о «Парцифале» Вольфрам фон Эшенбаха, «Мерлине Волшебнике» и др. относится именно сюда. Пушкин назвал предметом романтической влюбленности мечтателей этого рода «нечто и туманное даль». Это — намек на ближе неопределимую жажду трансцендентирования, выхода за свои и, вообще, за всякие пределы, которые ставит нам ограниченная т.н. действительность. Этого рода настроения принято называть «романтическими», а людей ими одержимых — «романтиками», хотя, на деле, здесь дело обстоит как раз наоборот: романтизм есть одно из проявлений этого рода настроений и установок. Это необходимо раз навсегда отметить и подчеркнуть, ибо противники церковности любят корить людей Церкви «упадочно романтическими настроениями», которые будто бы совсем нехватали «в наш век положительный» — хотя совершенно тоже самое говорили и нигилисты шестидесятых годов, рационалисты XVIII века и т.д. вплоть до древних материалистов. Старая, как мир история — ибо человечество вообще всегда на своих исторических путях напоминало мечтательного Дон Кихота, а рядом с ним — «трезвого» Санхо Пансо. Можно сказать, что характернейший признак романтизма есть аскетический,

отрешенный стиль мысли и чувства. Это стиль можно еще назвать « орфическим » и « мистериальным ». Орфическим — от имени « Орфея », легендарного поэта-музыканта, лира которого издавала звуки и творила музыку превосходившую все обычное в этой области, музыку вторгавшуюся в запредельное. Не будучи в состоянии удержать в этом мире выведенную им чарами своего искусства из преисподней душу своей возлюбленной Евридики, он влачил горькое существование и умер от тоски... по другой легенде он был растерзан менаидами. Есть еще несколько изводов этой легенды. Ясно только одно: способность проникать в миры иные связана была у Орфея с тем, что сам предмет его возжеланий находился по ту сторону и что свой гений он должен был искупить ужасающими страданиями, должен был искупить мученической смертью... .. Всякий романтик ищет свою мечту, свою Евридику за пределами этого мира и тоска — характерный признак того что мы здесь зовем « романтизмом », тоска, переходящая в жестокую скорбь, лютейшие страдания, которые делают земное существование несносным бременем. Отсюда тот комплекс, тот « букет » настроений и установок, который иногда доводит романтиков до культа самоубийства или к тому что этому культу родственно, куда надо отнести жесточайшие, переходящие все мыслимое, формы аскезы. Все это соединено с чувством неудовлетворенности и с сознанием полной невозможности получить удовлетворение « здесь »:

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Это изумительное стихотворение отрока Лермонтова есть как бы общая формула и самый полный, быть может, самый музыкальный образ романтизма.

Парадоксальность этого состояния, его противоречивость и непонятность для так наз. « нормальных » и « будничных людей » — все это усиливает и страдания. Невыразимое должно быть выражено, невоплощаемое и бесплотное — должно быть воплощено —

Неволей, иль волей, он должен вещать,
Что слышит подвластное уху.

Если страдальческое, пограничное состояние для обычного человека составляет исключение, для « людей лунного света » оно является как бы нормой.

*О вещая душа моя!
О сердце полное тревоги!
О как ты бьешься на пороге,
Как бы двойного бытия!*

*Так ты жилища двух миров:
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески неясный,
Как откровение духов...*

*Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые, —
Душа готова, как Мария
К ногам Христа навек прильнуть.*

Это гениальное стихотворение Тютчева с непостижимой силой и властью, свыше данной, открывает тайну сердца, сделавшегося « иным » по отношению к миру. Вместе с тем, это стихотворение также как и « Поэт и Чернь » Пушкина, с которым у него полное внутреннее сродство, показывает, почему такая душа, или ставшая иной миру, в порядке катاستрофы, или уже пришедшая в этот мир « иной » может подвергнуться насилью прельщений внешнего мира, который ей противен, может временно пасть, не найдя достаточно сил устоять, но никогда не будет внутренне увлечена этим миром, посторонним миром. Выбор давно уже сделан. И рано, или поздно, небо примет предназначенную ему душу:

*Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.*

Это заключение « Поэта и Черни » Пушкина, в сущности представляет свободную вариацию на очень важный момент восточной литургии, раскрывающий душу человека ставшего « иным », все усилия своей души напрягающего, все свои молитвенныя вопли устремляющего к тому чтобы стать « иным ». Момент этот — « Херувимская песнь », которая есть, в сущности, одновременно и песнь об « иночестве »; в ней поет дух истинного поэта, раскрывающегося навстречу лучам восходящего « Солнца Правды ». « Великая красота делает нас равнодушным к обыкновенному, а все обыкновенно сравнительно с Иисусом » говорит В. В. Розанов.

« Мы, ныне изображающие таинственно херувимов, и поющие животворящей Троице трижды святую песнь, ОТЛОЖИМ НЫНЕ ВСЯКОЕ ЖИТЕЙСКОЙ ПОПЕЧЕ-

НИЕ, чтобы нам поднять Царя всех, невидимо копыеносимого ангельскими чинами. Аллилуиа !

Вся без исключения русская поэзия в ее сокровенном существе может быть сведена к этой великой и единственной теме — **МОНОТЕМЕ** — к тому, чтобы увидеть невидимую и великую красоту, ради нея пожертвовав всем. Но в этом и моральная суть Евангелия. Продать, или отдать все — и приобрести « бесценный бисер Христа ». В этом и мистическая сущность замечательного тропаря св. равноапостольному князю Владимиру, через которого душа Руси стала иной миру.

Конечно, это отнюдь не значит, что Русь и русский человек менее грешны чем другие страны, или другие народы. Такое безумие может прийти в голову только жалкому гордецу — и сама такая мысль есть уже доказательство, что одержимый ею человек, какой бы он ни был нации, низко пал, ибо иметь Бога в душе это прежде всего сознавать себя величайшим грешником, а свою страну — величайшей грешницей. Так и мыслили, так и чувствовали, как русские святые и подвижники, так и лучшие русские люди и мыслители — как. напр. « славянофилы », равно как и примыкавшие к ним. Далее мы это и увидим... Среди русских людей появились и безбожники и материалисты. Это ужасно, но это так.

Однако, даже эти безбожники и эти материалисты, при всем своем материалистическом миросозерцательном еретичестве и заблуждении, никогда не страдали национальным самомнением, национальной исключительностью, расизмом — говоря короче, и никогда не полагали, что целью жизни является наслаждение и эгоизм. Человек, устраивающий свои личные дела, взятый в качестве национального героя, человек « срывающий цветы наслаждения » в качестве положительного типа, которому надо следовать и подражать — это нечто до такой степени дикое и невозможное для русского человека и для русской культуры, что об этом даже и вопрос никогда не поднимался. Русский человек всегда имел в качестве идеала служащего верховному образу « инока ». Вопрос только в том, каков этот идеал — имманентный, посторонний, или трансцендентный, потусторонний.

В связи с этим, русская аскеза и русское иночество всегда владевшее умами, делилось на две группы, между которыми легла непроходимая пропасть. Для одних верховным идеалом было **ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ СО АНГЕЛАМИ И СВЯТЫМИ В СОЗЕРЦАНИИ НЕБЕСНОЙ КРАСОТЫ И ВО ВНИМАНИИ ТОМУ, О ЧЕМ И СКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ**, словом, в

ИДЕАЛЕ АКТУАЛЬНОЙ, БОЖЕСТВЕННОЙ, или, если угодно, СОФИЙНОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ, ЦАРСТВА БОЖИЯ, ЦАРСТВА НЕБЕСНАГО.

Для других верховным идеалом, или, «ведущим образом» было ЦАРСТВО ЗЕМНОЕ, ЗЕМНОЙ ГРАД СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ ЭВДЕМОНИЯ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ МАСС, ДО ПРЕДЕЛА ДЕМОКРАТИЗИРОВАННЫЙ КОМФОРТ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ, ФИЗИЧЕСКИ СЧАСТЛИВОЙ И СЫТОЙ ЖИЗНИ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ СМЕРТИ, «ЭВТАНАЗИИ».

И, подобно тому, как радетели идеала Небеснаго, жертвовали всем, что касалось жизни личной и личного благополучия, проходили краткую жизнь страданий и лишений, дабы всем собором блаженствовать в жизни будущего века, — так и радетели царства земного жертвовали всем, что касалось жизни личной и личного благополучия, дабы «будущие поколения» жили «справедливо», безболезненно и сыто. Первый идеал блюли монахи — иноки БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ идеи. Второй идеал блюли монахи-иноки ЧЕЛОВЕКОБОЖЕСКОЙ, АНТИХРИСТОВОЙ ИДЕИ.

Что русские революционеры, имевшие в конечном своем идеале БОЛЬШЕВИЗМ, были своеобразными монахами, в этом сомневаться никак не приходится. Слово это произнес в первый раз о. С. Булгаков в своем замечательном труде «Два града» (Москва, 1911). В известном смысле можно говорить также и об умственной и эстетической аскезе предшественников большевизма среди радикальной, так наз. революционно-социалистической интеллигенции.

Среди этой интеллигенции социализм, или коммунизм, вообще, коллективистический режим, рассматривался с эсхатологической точки зрения, то есть, совершенно так, как верующие рассматривают конец мира, пришествие Христова и преобразование действительности. В самом деле, какие еще могут быть занятия наукой и искусством в предвидении такой катастрофы?

Нечто подобное наблюдалось среди так наз. лево радикальных интеллигентов. Как бы мы ни относились к такой установке, все же нельзя не признать, что она — типично аскетическая... Надсон, выражая их настроения, писал:

...Покуда на свете есть слезы,
И покуда царит непроглядная мгла, —
Бесконечно постыдны заботы и грезы
О тепле и довольстве родного угла!

При наличности и искренности таких настроений — а в искренности их сомневаться не приходится, люди эти не лицемерили — конечно любовь, брак, или какая бы то ни было возможность «устройства» личной жизни — были невозможны. А если кое кто из них «соблазнялся» в этом смысле, — на него смотрели совершенно как настоящие монахи смотрят на т. наз. «расстригу», то есть на монаха ушедшего из монастыря и нарушившего обеты...

Конечно, монахи человекобожества, сделавшись большевиками и придя к власти логично стали палачами Церкви, Христианства, Родины, и, десятков миллионов невинных жертв.

Но, зато, совершенно отъединившись от «ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови» чекистов — великое, подлинно духовное, подлинно аскетическое начало русской литературы и поэзии до конца сказало свою пророческую и псаломную сущность в отсветах жертвенного огня на котором сгорела святая Русь, в красно багровых потоках мученической крови...

Один из самых больших русских поэтов, Александр Блок, был зачарован священно-пророческой, историософской идеей, которую художник Васнецов вложил в свое изображение великого символа — ГАМАЮНА ПТИЦЫ ВЕЩЕЙ, на стенах Владимирского Собора в Киеве. Эта зачарованность мученической красотой выразилась в одном из самых удивительных по трагической напевности и самых «русских» стихов знаменитого поэта:

Над гладью бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Поднять не в силах крыл смятенных...
Вещает изго злых татар,
И казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но правдой вещью звучат,
Уста, запекшиеся кровью!...

Во всем здесь сказанном была сделана попытка явить ту подпочву русской музыкально-поэтической красоты, красоты связанной с блаженно мучительной жаждой ИНОГО бытия. Эта могучая жажда раз навсегда сделала невозможной культ счастья и наслаждения на русской почве и в русском искусстве, поскольку оно выразилось в высших созданиях слов, звуков,

кисти... Но эти могучие орудия и средства воплощения красоты сами стали на русской почве « ИНЫМИ », — независимо от того, следовали ли они послушно каноническому чину, или были обрабатываемы теми, которых мы зовем « свободными художниками »... Для тех кто хочет и может видеть дальше « грубой коры вещества » — черный монашеский клобук всегда будет виднеться над главой русского искусства, как бы « в тонком сне »... Если это видение не улавливается, то это значит, что вззирающий не видит ПОДЛИННОЙ действительности, что он к ней ослеп, духовно ослеп, — либо автор — художник отклонился и как блудный сын, ушел « на страну далече »...

При чине пострижения монашеского, который митрополит Антоний наклонен считать таинством поется стихира « Недели о блудном сыне »:

« Объятия отчая открыти ми потщися ». Это означает, что мистический смысл самого пострижения заключается в том, что уже « пришедший в себя » уже « ставший иным » в глубинах души, уже ставший иноком, выявляет это изменение своего духовного существа, это его « преложение » внешним символическим действием и внешним образом жизни своей. Она отныне из « жизни » и из « биографии » превращается в « житие », то есть в жизнь пожертвованную Богу всецело. Это собственно и значит обретение для своего бытия прочной « каменной основы » — не в мечтах, не в грезах разгоряченного воображения, но в подлинном бытии, которое уже никакая сила — и сама смерть — не сможет сдвинуть: ибо отныне это бытие утверждено на « СВЯТОМ КРЕПКОМ », дарующем « СВЯТАГО БЕССМЕРТНАГО » ДУХА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ, ДУХА ВОСКРЕСЕНИЯ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Теперь мы вступаем в область подлинных реальностей, а не намеков, не символов, как бы они ни были прекрасны, какой бы великий, гениальный дар ни явил их миру: ибо подлинник всегда выше и дороже того, что этот подлинник изображает, того что лишь на него намекает, хотя и сам намек уже прекрасен.

Это значит, что не следует смешивать музыкально-литературный и философский романтизм с тем психо-пневматическим фоном (и фондом, духовным имуществом, духовным богатством) — с подсознанием и сверхсознанием, что создают иночески аскетические установки и возбуждают в человеке мощную и непреодолимую жажду иного бытия. Аскетизм вообще присущ человеческой душе, он составляет одну из ее самых органических, самых мощных сил и нужно употребить

духу пошлости и нечистоты много усилий, чтобы оторвать ее от этой врожденной тяги в рай чистоты, жизни и света, чтобы увлечь ее в черную пропасть, в бездну грязи, смерти и мрака... Античные мистерии, перед чистой и глубиной которых склонялись и отцы Церкви, индусская аскетическая дисциплина и, наконец, над этим всем сияющее своим кротким и бессмертным « светом не вечерним » христианское монашество, давшее миру такие перлы как Антония Великого, Франциска Ассизского, преп. Серафима Саровского, св. Терезу из Лизье и др. — показывают какое великое сокровище заложено в душу человека в виде этой неискоренимой иноческой потребности, непреодолимого аскетического влечения, которое гораздо сильнее всех жалких и немоющих земных страстей и пристрастий — уже потому гораздо сильнее всего этого, что вызвано жаждой подлинного бытия и вечной жизни...⁽¹⁾

Плоть человека есть тоже Божий дар. По учению Церкви ею надлежит не гнушаться, а очищать ее, дисциплинировать, просветлять, обоживать; ее надлежит совершенствовать и

⁽¹⁾ Монашество в качестве конкретного факта церковной жизни не надо смешивать с иночеством. Это термины, хотя и эквивалентные, равнозначные, но ни в коем случае не тождественные и не покрывающие друг друга. Как показал Еп. Иоанн Шаховской и, как мы уже могли убедиться, понятие иночества шире понятия монашества. Концентрируя тонкие соображения упомянутого автора, можно их кратко сформулировать так: **ВСЯКИЙ МОНАХ — ИНОК, НО НЕ ВСЯКИЙ ИНОК — МОНАХ**. Можно носить в своей душе целый монастырь, а в то же самое время оставаться в миру и продолжать как бы обычную мирскую жизнь. Это ведь не только не противоречит словам Евангелия, но скорее даже соответствует им: « А ты, когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцем твоим, Который втайне: и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно » (Матф. 6, 17-18). Если в душе явного монаха, давшего монашеские обеты и возложившего на себя монашеские одеяния, нет этого внутреннего интимного иночества, твердого и неуклонного стремления стать « иным » миру, тогда, конечно, обеты и одеяния будут такому лицу в суд и в осуждение — и в поношение монашескому званию. Но на основании того, что внешнее монашество должно быть обязательно соединено с внутренним иночеством было бы большою ложью отрицать внешнее, видимое монашество, таким же образом, как было бы ложью, большим заблуждением и ересью отрицать внешнюю, видимую, организованную Церковь, на том только основании, что в основе видимой Церкви лежит невидимая, Небесная Церковь. Человек есть существо духовно-телесное; и Сам Спаситель, приняв раз навсегда человеческую плоть больше никогда не развоплощается. А видимая, телесная организованная Церковь есть именно мистическое тело Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

И отрицать поэтому видимую Церковь со всеми Ея учреждениями, с таинствами, службами, с организованным духовенством и монашеством — это значит ГРЕШИТЬ ОТРИЦАНИЕМ « ТАИНСТВА » ПОДЛИННОГО ВОСПРИЯТИЯ (προϋψις), то есть это значит впасть в ересь монофизитства, аналогичную, хотя и симметрично противоположную арианству, но столь же зловердную, уничтожающую как сам факт христианства, так и его смысл.

делать из нее послушное орудие духа, в нее вкладывая и через нее проявляя все духовные дары. На этом построен высший тип культуры, то, что Иоанново Откровение именует «славой и честью народов» (Откр. 21, 26). Отрицание этой истины делает все христианство бессмысленным, Крест и Воскресение — ненужными, а отношение к высшей культуре и к плодам духовного творчества — нигилистическим, так ск. «иконоборческим» — ибо ИКОНА И ЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ПЛОТЬ. Этим и объясняется почему всю тяжесть борьбы с злейшей ересью иконоборчества вынесло на своих многострадальных плечах — монашество. Царство Небесное сияющее славой единства высших духовных ценностей есть в известном смысле ЦАРСТВО ИКОННОЕ И ПРОСИЯВШИЙ МОНАСТЫРЬ. Что такое этот космический монастырь? Всем известны символические мотивы преображенной природы в весьма многочисленных иконах русско-византийского письма. Всем понимающим толк в музыке известны отрешенные, надземные, улетающие в беспредельную высь и освобожденные от срамной чувственности напевы «знаменного» «столпового» распева. Все это и есть мотивы и образы космического монастыря. Его имя — рай, новый Иерусалим. О входе в него молит умиравший Баратынский:

Заблуждений земли
Мне забвенью пошли
И на с т р о г и й Т в о й р а й
Силы сердцу подай.

В музыке эти выразил гений Римского-Корсакова в своем «граде Китеже».

Из всего сказанного видно, что хотя романтизм, как явление культуры, пусть важнейшее и центральное, выходит из одного общего, психо-пневматического душевно-духовного корня с монашеством, все же не должен быть с монашеством смешиваем, а монашество не должно быть смешиваемо с романтизмом. Иночество проявляющее себя в монашестве, как в аскетической церковной дисциплине, начисто отвергает какое либо мечтательство, фантазирование. Люди духовного опыта отлично знают, что за мечтательством таится ирреализм, акосмический ложный псевдо-идеализм и сдача всех позиций князю века сего, дурное непротивление царству зла и пошлости. Монашество, отвечая естественной потребности души в аскезе и находясь в полной гармонии с церковным учением, с полнотой церковной истины, не только по существу своего мироощущения и учения глубоко реалистично, ибо твердо

верит в то, что « было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни » (I Иоан. I, 1), но всю свою деятельность, все свои подвиги и устремления сводит к единой цели: **ТЕЛЕСНО И КУЛЬТУРНО РЕАЛИЗОВАТЬ ТОТ ВЕДУЩИЙ ОБРАЗ, КОТОРЫЙ ЕМУ ПРЕДСТОИТ В ЛИЦЕ ИИСУСА ХРИСТА, ЕГО ПРЕЧИСТОЙ МАТЕРИ И ВСЕХ СВЯТЫХ СО АНГЕЛЫ.**

Все это делает монашество **ОСЬЮ ЦЕРКОВНО-ЛИТУРГИЧЕСКОГО И УСТАВНО ОРГАНИЗОВАННОГО ДЕЛАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА, ТО ЕСТЬ, СОЗДАТЕЛЕМ ЦЕРКОВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОТ КОТОРОЙ ИСХОДИТ И К КОТОРОЙ ТЯГОТЕЕТ ВСЯКАЯ ПОДЛИННАЯ КУЛЬТУРА, ГДЕ ИДЕАЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОЛЕПИЕ И СТРОЙ, в одном слове говоря — БЛАГОУСТРОЕННОСТЬ.**

Монашество стремится создать **БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДУШИ** и церковный, вполне и до конца воплощенный **ДУХОВНО-РЕАЛЬНЫЙ КОСМОС**, где « все благообразно и по чину бывает », — согласно слову св. ап. Павла. **МОНАШЕСТВО СМИРЯЕТ И ВВОДИТ В БЕРЕГА СТРАШНУЮ, ПОТРЕВОЖЕННУЮ БУНТОМ САТАНЫ БЕЗДНУ ХАОСА, СТРЕМЯЩУЮСЯ ВСЕ ПОГЛОТИТЬ, АННИГИЛИРОВАТЬ, УНИЧТОЖИТЬ, СКАЗАТЬ БОГУ « НЕТ » в ОТВЕТ НА ЕГО « ДА БУДЕТ ».**

Архитектура, иконография, церковная музыка, литургическая поэзия и литература, правдивые сказания историка-хрониста, даже всевозможные ремесла и хозяйственные занятия, делаемые « во славу Божию ». все это, как правило, в истории культуры, дело рук монашеских, руководимых сознанием, что нужно думать не о человеческом, но о Божием — и именно потому так много давшим человеку — из того, что соответствует его достоинству, как образу и подобию Божию.

В этом то и чудо монашества, что оно, не думая о мирском и плотском, живя так, как будто бы мир и человек доживают последние мгновения, приняв ангельский образ, отложив житейское попечение, **ТАК МНОГО ДАЛО ЗЕМЛЕ КАК НИКТО и НИЧТО.** Но ведь не даром же сказано: « Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам » (Метф. 6, 33). В этом и чудо монашества, что оно, будучи **ЧИНОМ АНГЕЛЬСКИМ и АПОКАЛИПТИЧЕСКИМ, СОРАСПЯВШИСЬ ХРИСТУ И СПОГРЕБШИСЬ ЕМУ ЗАЖИВО,** создает самое значительное и гениальное и самое нужное и действительное, самое реальное. В этом парадокс монашества, что оно не будучи ничем кроме

мысли о смерти заинтересовано — питает живых во всех смыслах и так много дает всем и каждому. Монашество уходит из мира, чтобы воссоздать его, оно отрицает мир, чтобы прославить его, и отвращает глаза свои от его суеты, чтобы украсить и просветить его. Но не в этом ли сущность и даже « техника » каждого подлинного творчества — чтобы прежде всего « отложить житейское попечение » и отрешиться от всякой заинтересованности, от всякой тенденции? Ненависть к монашеству-иночеству также как и ко всякой красоте — поэтической, музыкальной, изобразительной — вытекает все из одного и того же черного неподобного источника, откуда течет на мир всякое НЕПОДОБИЕ, всякая вражда к ПРЕПОДОБИЮ, то есть к высшей БОГОПОДОБНОЙ КРАСОТЕ...

Культ, культура, красота — все это исходит из иночества и из видимой объективации иночества — из монашества...

Так и культура Русская начинается вместе с монашеством. И, уйдя потом, когда начались бесконечные гонения и « секуляризации », в глубины сердечные, в глубины внутреннего иночества, оно продолжает там жить и творить поскольку « жизнь » и « творчество » заслуживают этого имени... Все тому, что есть на Руси оправданному и не подлежащему отвержению перед лицом вечности, русские люди от « верхов » до « низов » обязаны опять таки иночеству — монашеству, основе, мозгу и позвоночному хребту Церкви.

Поэтому все формы обмирщения (« секуляризации ») острее которой всегда направлялось, как на Руси, так и в Византии при императорах иконоборцах, против монашества, надо считать злодейской акцией не только против высшей культуры, но и против самого государства, против общества, против народа. — Если считать что « секуляризация » и « гуманизм » — это одно и то же, то здесь слово « гуманизм » может быть применено только в ироническом смысле полной и всесторонней дегуманизации. Мероприятия царя Алексея Михайловича с Никоном против старообрядчества (фактически — против старообрядческого монашества), гонения на монашество Петра Великого, еще большие свирепости Анны Иоанновны и Бирона, расправа Екатерины Великой (уничтожение множества церквей и монастырей) — все это привело к весьма плачевным результатам. Ведь все в России и сама Россия созданы христианством и монашеством, все вплоть до колонизации в специальном русском смысле этого слова, то есть освоения и культивирования еще не занятых человеком пространств. Затем уже на благословенные и намоленные места приходит Государство...

Истинный поэт, то есть подлинный творец подлинных ценностей, которых не коснется страшное испытующее пламя « дня гнева », дня последнего и лютого — тоже отвергает и царство мира сего и его владыку — безымянную « чернь », число которой — « как песок морской » (Откр. 20, 7). Это видно из двух величайших произведений программно-исповеднического характера: « Поэта и черни » Пушкина и « Осени » Баратынского. Эти произведения прославляют и воспевают иночество поэта по отношению к миру. Сюда же относится и финал « Бокала » того же Баратынского. И собственно поэзия кончается в тот момент, когда поэт предает свою пустыню, когда он отказывается от своего одиночества и начинает заниматься более или менее удачным плетением вирши, а то так и просто откровенным умножением в мире лжи, зла и уродства.

Да и сама душа, которая по природе христианка и для которой РАЙ ЕСТЬ ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К МИРУ, которая, хотя порою и собирает сокровище духовное от мира на подобие того как это делал св. Тихон Задонский, причастна красоте только тогда, когда и мир для нее стал иным, потому что перед истинным художником « носятся совсем иные вещи » — по выражению умирившего Бетховена. Душа по природе — ИНОКИНЯ. И томится чудным желанием в мире, где все « похоть плоти, похоть очей и гордость житейская ». И вздыхает душа мучительным стенанием: « Желание имею разрешиться и со Христом быть »...

Душа по природе — райская птица, и поскольку она жива, ни в какие клетки ее заманить нельзя. Если рожденный ползать — летать не может, то и обратно, рожденный летать — ползать не может. Иноки-монахи, если они только достойны этого имени, это те, которые неспособны ползать и пресмыкаться, но которые могут только, « отложив житейское попечение » летать вместе с херувимами вокруг престола Божия для немолчного денного и ночного славословия Живущего во веки. Иначе как можно было бы назвать, не впадая в семинарскую реторику, монашеский чин — чином равноангельским?... Кажется нет ничего в космосе более прекрасного, чем эта идея, именно идея принятия человеком чина равноангельского. КТО ЭТОГО ОБРАЗА ЯВНО ИЛИ ТАЙНО НЕ ПРИНЯЛ, ТОТ НЕ ПОЭТ!... И не надо пускаться теперь в длинные объяснения по поводу того, почему истинные поэты бывают гонимы от поэтов ложных... причем эта драма совершается нередко в одной и той же душе, самой в себе развоившейся... Также и истинные монахи бывают непременно

гонимы от монахов ложных, — и тоже часто в одной и той же душе. И эта трагедия есть тяжесть иноческого креста.

Очень значительная часть русской поэзии посвящена героической и даже мученической борьбе против секуляризации врывающейся в святилище души-христианки для учинения в ней погрома высших ценностей и высшей красоты.

Русская поэзия не устает являть миру чудесами « великого, могучего, правдивого и свободного русского языка » предельные и запредельные красоты. Но ей так же присущи в высокой мере грозные, героические мотивы мужественной борьбы за эти красоты.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ М. В. ЛОМОНОСОВА

Михаил Васильевич Ломоносов ставший «разумным и великим по своей и Божьей воле» никогда не забывал благодарить и воспевать Господа Бога, даровавшего ему мощный разум и несокрушимую трудовую энергию; так же как и не забывал он Того, чья воля вдохновляла и укрепляла его собственную, человеческую. Все его творчество было или прямым славословием, хвалою Создателю мира, или таким славословием сопровождалось высказанные им мысли. Да и вообще подлинное творчество, которым была насыщена вся жизнь М. В. Ломоносова, не может быть безбожным. Приведем в подтверждение этого фразу современного нам философа Анри Бергсона: «Творец творит творцов» и следовательно, ни одна истинно творческая человеческая натура не может противопоставить себя Богу, но сливается с Ним в своем творческом процессе.

Но вместе с тем М. В. Ломоносов был человеком своего века, его направленности, то-есть рационалистом — мыслителем, верившим в приоритет разума над чувством, и натуралистом-исследователем, устремлявшим свою энергию к познанию окружавшего его физического мира. Однако и здесь в его познавательной, исследовательской, материалистической деятельности он был не простым «следопытом закономерности». Он исследовал мир природы не в отрыве от его Создателя, но открывая ее законы; он одновременно стремился к определению их первопричины, т.е. к познанию творчества Господня. М. В. Ломоносов не только позитивистически раскрывал окружавшую его мировую природу, но как бы сотрудничал с Богом сотворившим ее, сотрудничал с самой творимой им природой. Это свойство сближало великого и истинного натуралиста-ученого с артистом-поэтом, синтез чего и представляла собой могучая сложная душа Ломоносова.

«Слава всех вещей есть Бог и божественное, природа же божественна. Начало всех вещей есть Бог — разум, природа и материя». Такого рода настроения владели М. В. Ломоносовым во всех проявлениях его творчества, и ими насыщены строки его поэтических произведений.

Будучи человеком своего века в целом. М. В. Ломоносов был также прежде всего русским человеком того века во всем его своеобразии. Ведь XVIII век в России был необычайно бурной творческой эпохой превращения нашей родины из замкнутого Московского царства в великую и могучую Северную Империю. Нация напрягала все свои силы и

проявляла их во всех направлениях. То же самое в масштабе своей личности выявлял и М. В. Ломоносов, поэт, создатель русской грамматики, художник-мозаист, натуралист, географ, физик, химик и т.д. Ясно ощущая свою собственную творческую силу, М. В. Ломоносов не считал себя феноменальным исключением из всего организма Российской нации, но глубоко веровал в то,

*Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Земля Российская рождать.*

Но оставив вне нашего рассмотрения все разнообразные проявления этой могучей природы, сконцентрируем свое внимание только на его поэтическом творчестве и более того — только на проявлениях религиозного характера в его стихах. Лучшие образчики его поэзии либо отражают дух псалмов, либо представляют собой переложения из Священного Писания. Это не нарушает оригинальности и характерности гения Ломоносова. Ведь он же был автором труда «**О пользе книг церковных**», установив в них неразрывную, органическую связь поэзии, литературы и всей культуры в целом с церковью и христианской религией. Не противоречат его общей религиозной устремленности и сатирические произведения, в которых он борется с обскурантизмом, ограничением проявлений разума, подавлением их утратившею живой дух обрядностью, или, хуже того, невежественными суевериями.

*Пахомий говорит, что для святого слова
Риторика ничто; лишь совесть будь готова,
Ты будешь казнодей, лишь только стань попом,
И стыд весь отложи! Однако врешь Пахом:
На что риторiku совсем пренебрегаешь?
Ее лишь ты одну и то худенько знаешь.
Василий, Златоуст — церковные столпы —
Учились долее, как нынешни попы,
Гомера, Пиндара, Демосфена читали,
И проповедь свою их штилем предлагали,
Натуру, общую всей твари мать,
Небес, земли, морей, старались испытать,
Дабы Творца чрез то по мере сил постигнуть
И важностью вещей сердца людски подвигнуть;
Не ставили за стыд из басен выбирать,
Чем к праведным делам возможно преклонять.
Ты словом Божиим незнанье закрываешь,*

*Ты думаешь, Пахом, что ты уж Златоуст,
Но мы уверены о том, что мозг твой пуст.
Нам слово Божие чувствительно, любезно
И лишь во рте твоём бессильно, бесполезно.*

Это стихотворение М. В. Ломоносова насыщено свойственной его характеру страстностью, порывистостью, стремлением к борьбе; но цель этой борьбы не только не противоречит религии, но наоборот стремится укрепить ее в человеческих душах, тесно сливая религиозное начало с рационалистическим познанием мира.

К такого же рода стихотворениям относится его знаменитый «Гимн бороде» в котором он восстает против приверженности к консервативной форме, против ханжества и подмены истинной религиозности мертвым обычаем. В этом он вполне созвучен с мышлением высоких умов Запада и на высказанных им мыслях нет ни тени безбожия или попыток поколебать основы веры. Но он остается прежде всего рационалистом, и мистические настроения скрыты где-то в глубинах его духа. Они дремлют там в его подсознании, но тем не менее они там есть. Недаром же, в далекой Германии, он увидел в трансе гибель своего отца в море и даже подробно описал позже тот остров, куда был выброшен его труп, что оказалось вполне соответствующим действительности: по указаниям этого письма Ломоносова тело его погибшего отца было найдено.

Материальная природа мира для М. В. Ломоносова прежде всего видимый и осязаемый результат творчества Господня. Это он совершенно ясно и с большою силой высказывает в «Утреннем размышлении о Божьем величестве»:

*Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли,
И Божиим дела открыло.
Мой дух с веселием внемли,
Чудясь ясным столь лучам,
Представь каков Зиждитель сам.
Когда бы смертным столь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу брэнно наше око
Могло приблизившись воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно океан.
Там огненны валы стремятся*

*И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющиеся множество веков.
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
Сия ужасная громада
Как искра пред Тобой одна.
О, сколь пресветлая лампада,
Тобою, Боже, возжжена,
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел.
От мрачной ночи свободившись,
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись
Исполнены Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик Зиждитель наш Господь.
Светило дневное блистает,
Лишь только на поверхность тел,
Но взор Твой в бездну проникает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
Лится радость твари всей.
Творец, покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи,
И что угодно пред Тобою.
Всегда твори наущи!
И на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный Царь!*

Вселенная — гигантский хаос, и только Творец, Господь Созидающий превращает этот хаос в стройную систему одухотворенной им природы. В этом стихотворении М. В. Ломоносов поет торжественный гимн самому Создателю и Его творению, преклоняясь и перед тем и перед другим, а одновременно и молится, прося у Господа дара познания разумом человеческим Его Творений.

« Утренним размышлениям » вполне созвучны и « Вечерние размышления о Божьем величестве », в которых Ломоносов при виде непонятного ему северного сияния одновременно преклоняется перед тайнами творчества Господня и молится о даровании ему проникновения в эти тайны.

*Лицо свое скрывает день,
Поля покрыла влажна ночь,*

*Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас прогнала прочь.*

*Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне — дна.*

.

*Для общей славы Божества
Там равна сила есть тьма*

.

*Несведом тварей вам конец,
Скажите ж, сколь велик Творец.*

Признавая этими строчками бессилие человеческого ума в раскрытии тайны Божьего творчества, Ломоносов заканчивает гимн величию Господа.

Но не только тайны миротворения, тайны космоса влекут к себе М. В. Ломоносова. Человеческая душа для него такая же еще не познанная тайна, к раскрытию которой устремляется его поэтический дар. Глубинные трагические мотивы душевных переживаний влекут его к себе с особенной силой и поэт идет к ним путем, указанным Библией. К этому циклу стихотворений-молитв М. В. Ломоносова относятся переложения им 15-го и 146-го псалмов, а также и выбранных мест из книги Иова. Устремленный к высотам и глубинам мироздания взор Ломоносова направлен им также и к душе человеческой, к ее страданиям и томлениям. И здесь мы видим тот же религиозный аспект.

*О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь человек,
Внимай, коль в ревности ужасно
Он к Иову из тучи рек.*

.

*Обширного громаду света,
Когда устроить Я хотел,
Просил ли твоего совета
Для множества толиких дел.
Как персть Я взял в начале века,
Дабы создати человека;
Зачем тогда ты не сказал,
Чтоб вид иной тебе я дал?
Сие, о смертный рассуждая
Представь Зисидителю власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпении часть.*

*Он все на пользу нашу строит,
Казнит кого или почит.
В надежде тяготу сноси
И без роптанья проси.*

Непреодолимо устремленный к познанию ум Ломоносова склоняется перед признанием высшей недоступной ему мудрости Господней, неисповедимыми путями ведущей людей к конечной благодатной цели.

Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный,

скажет потом А. С. Пушкин, облакая в поэтическую форму положение Гегеля « все существующее — разумно ».

Тайна творческой души не поддается позитивистическому исследованию. Поэтому и нам теперь абсолютно невозможно разграничить в душе Ломоносова метафизические устремления ее от познавательной направленности его разума. Одно и другое гармонично сливается в огромном и всестороннем его таланте. Один и тот же творческий порыв вызывал в нем ненасытную жажду знания, склонял его богатырскую фигуру над колбами и ретортами и одновременно вдохновлял его к созданию религиозно-космических од.

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

Одетая в золото и парчу русская поэзия XVIII века, с ее пышными, грандиозными и нередко излишне громоздкими формами, с ее славяно-русскими оборотами, и в наши дни имеет многих недооценивающих ее противников в так называемых широких кругах русской интеллигенции. Повинен в этой несправедливой оценке ее не только невежественный, лишенный тонкого вкуса, постоянно противоречащий самому себе атеист В. Г. Белинский—предтеча русского нигилизма, а в дальнейшем советского социалистического мировоззрения. Повинен в этом также и безличный, меркантильный дух XIX века, бороться с которым не мог даже и сам Пушкин, вполне сознававший величие поэзии Державина и в некоторых случаях следовавший его заветам.

Восемнадцатый век был веком высокой динамики развития русского государства и всестороннего творчества всей нации. В ряду поэтических памятников, оставленных нам этим веком на первых местах стоят произведения М. В. Ломоносова и Державина.

И тот и другой были не только выразителями всего блеска и подъема своей родины, превращавшейся из полуазиатского царства в могущественную мировую Империю, но совершенно сливались с духом нации и отождествляли себя в творчестве с Российской Империей. Радость, мощь, жизненный напор бытия и трагизм преодоления преград, поставленных на его пути—вот основной лейтмотив как биографии Державина, так и его поэтического творчества. В чисто русском мироощущении подобное полнокровие жизненных сил в здоровом организме неотделимо от чисто религиозного представления о своей зависимости от Бога, как Творца, Отца и Благодетеля. Такого рода переживания личности носят частично несколько « ветхозаветный » характер и даже оттенок пантеистически-языческого религиозного космизма. Но какими бы ни были эти переживания радости жизни и силы жизненного напора, они все же в поэзии Державина были всегда враждебны и глубоко чужды атеизму и материалистическому мировоззрению. Выраженные в поэзии Державиным любовь к жизни, восхищение ею и любовование красотами мира в целом есть ничто иное, как громозвучный гимн Создателю этого мира, Богу-Творцу. Она является результатом потребности поэта выразить Богу свою благодарность за дары Его, прославить Отца всего живого, вознести Ему хвалу. Она словно молитва, славословящая и благодарящая. Она—своеобразный псалом, выра-

женный в литературно-поэтических формах современной Г. Р. Державину эпохи.

Подлинно-христианских мотивов мало как у Ломоносова, так и у Державина. Покаянных мотивов нет ни у того, ни у другого. Чисто христианская мораль у Г.Р. Державина украшается, а иногда и заменяется этикой философии стоиков. В этом дань, принесенная поэтом своему рационалистическому веку. Его религиозный мир, его метафизические представления наиболее полно и звучно выражены им в знаменитой оде «Бог», величавая музыка которой чрезвычайно близка произведениям созвучных ему композиторов Баха и Генделя.

*О, Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц—в трех Лицах Божества.
Дух всюду суций и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе ж числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал;
А вечность прежде век рожденну,
В Самом Себе Ты основал.
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек;
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, Ты есть, Ты будешь век.
Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь,*

Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даешь.
Как искры сыплятся, стремятся,
Так солнцы из Тебя рождаются;
Как в мразный ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вращаются зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под Тобой.
Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры—
Перед Тобой, как ночь пред днем.
Как капля в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом,
Стократ других миров—и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед Тобой—ничто.
Ничто! Но ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! Но жизнь я ощущаю;
Несытым неким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает;
Я есмь,—конечно есть и Ты.
Ты есть!—Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет:
Ты есть—и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной;
Поставлен, мнится мне в почтенной
Средине естества я той,

Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом горам повелеваю,
Я царь—я раб, я червь—я Бог!
Но будучи я столь чудесен,
Отколе произошел?—безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твое создание я Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертню бездну преходило
мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился,
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твое.
Неизъяснимы, непостижны!
Я знаю, что души моей
Воображенья бессильны
И тени начертать Твоей!
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной радости теряться
И благодарны слезы лить.

Эта ода как бы подводит итог современному Державину представлению о Высшем Существе, созданном искусством, поэзией, музыкой и живописью Ренессанса, созвучными им течениями философской мысли и даже богословия. Державин, конечно, многого в этих областях не знал. Но там, где ему нехватало знаний, на помощь ему приходила его изумительная поэтическая интуиция, а главное—высокая артистическая культура, которую он носил в своей крови.

Несмотря на знойный темперамент, несмотря на всю свою страстность, любовь к наслаждениям, пороки и греховность, Гавриил Романович Державин был в жизни человеком

высокой морали, обладавшим чистой, светлой душой. Более того, он был еще ревнителем чистоты. В нем было нечто, если можно так выразиться, от архангела Михаила, от апокалиптически-ветхозаветного духа, столь полно выраженного в сотом « Утреннем » псалме царя Давида: « Во утрие избивах вся грешные земли во еже потребите от града Господня все делающие неправду » (пс.100, 8). В русском переводе это звучит: « С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззакония ».

Этот псалом можно считать путеводной звездой, ведущим образом как жизни, так и творчества Державина. Из него вытекает вся его так называемая « гражданская поэзия », направленная на борьбу с окружающим злом, обличающая его, то-есть именно псаломная. Здесь мы встречаемся с удивительным парадоксом в творчестве Державина: непосредственно религиозные его произведения, как например ода « Бог », отстоят далее от их религиозных прототипов, чем его « гражданская поэзия ». Но если принять во внимание, что Державин всю свою жизнь буквально « провоевал », борясь за искоренение неправды и за водворение законности, под которой он прежде всего разумел защиту обездоленных и обиженных, то этот парадокс станет нам вполне понятным. Для иллюстрации приводим некоторые образцы его « гражданской поэзии ».

ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДЬЯМ

*Восстал всевышний Бог да судит
Земных богов во сонме их;
« Доколе, » рек, « доколь вам будет
Щадить неправедных и злых ?*

*« Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.*

*Ваш долг — спасти от бедъ невинных
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных
Исторгнуть бедных из оков ».*

*Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мглою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.*

*Цари! — Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны,
И также смертны, как и я.*

*И вы подобно нам падете,
Как съ древ увядший лист падет:
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет.*

*Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли.*

Тот же мотив, но в грандиозно-расширенном, столь характерном варианте мы слышим в « ВЕЛЬМОЖЕ ». Здесь, как и в других обличительных стихах краски и выражения сгущены и приближаются по своей беспощадности к знаменитой 23 ей главе книги Пророка Иезекииля: Обличение Иерусалима и Самарии под прозрачным символом двух се-стер Оголы и Оголивы).

*Не украшения одежд
Моя днесь муза прославляет,
Которое в очах невежд,
Шутов в вельможи наряжает;
Не пышности я песнь пою;
В кивотах блещущи металлом,
Услышат похвалу мою.*

.

*Кумир, поставленный в позор,
Несмысленную чернь прельщает;
Но коль художников в нем взор
Прямых красот не ощущает:*

*Сей образ ложных молвы
Се глыба грязи позлащенной.
И вы, без благодати душевной,
Не все ль, вельможи, таковы?*

*Не перлы перские на вас
И не бразильски звезды ясны;
Для возлюбивших правду глаз
Лишь добродетели прекрасны,
Оны суть смертных похвала.*

*Калигула! Твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела!*

*Осел останется ослом,
Хоть ты осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.*

*О! тщетно счастья рука,
Противъ естественного чина,
Безумца рядить в господина,
Или в шумиху дурака.*

*Каких не вымышляй дружин,
Чтоб мужу бую умудриться;
Не может век носить личин
И истина должна открыться...*

Неоспоримое преимущество обличений заключенных в псаломных и пророческих текстах, или же в блестящих вариантах то, что они выходят за пределы какой бы то ни было злободневности, за пределы какой бы то ни было политики, применимы ко всем эпохам и нациям, ко всем культурам и превращаются из картины социально-политической в образ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГРЕХОВНОСТИ.

Из этих поэтических образцов мы видим, сколь сильно было в Державине стремление к законности, к защите беззащитных, и что его действия в этом направлении были для него прежде всего религиозным служением. В этих его стихах нет ни следа социально-политической агитации или бунта, но звучит чисто апостольский мотив « грех есть беззаконие » (Первое посл. Иоанн, 3—4). Жизнь и гражданская деятельность самого Державина подтверждает это, ибо в своей обширной государственной деятельности он так же неустанно боролся с грехом-беззаконием, как и в поэзии.

Анакреонтические стихи Державина, в которых он воспеваеет суетные радости жизни — вино, любовь, веселье —

создали ему репутацию эпикурейца, то-есть личности, от которой внутренний метафизический мир закрыт красочной-цветистой декорировкой внешности физического бытия. Да, Державин, несомненно, любил эти суетные прелести, упивался ими и воспевал их в своих пышных строфах. Но что таилось под этой внешней радостью? Не благодарение ли Господу за щедро рассыпанные Им людям жизненные дары? Ведь и Христос сотворил чудо в Канне Галилейской, превратив воду в вино на потребу людям, ради услаждения их земного, суетного бытия.

Параллельно с этим невольно встает и другой вопрос: был ли скрыт от поэта глубинный, религиозно-метафизический мир, простирающийся за пределами земной суеты? Ощущал ли Державин тщету той суетности, которая, несомненно, пленяла его? Да, несомненно, видел, ощущал и глубинно понимал. Подтверждением этому служит его поэма « На смерть князя Мещерского »:

*1. Глагол времен! Металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает!
Едва увидель я сей свет,
Уже зубами Смерть скрежещет,
Как молнией косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.*

*2. Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает;
Монарх и узник — снесь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет время славу стерть:
Как в море льются быстры воды
Так в вечность льются дни и годы;
Глохнет царства алчна Смерть.*

*3. Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.
Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнца ею потушатся,
И всем мирам она грозит.*

4. Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чаёт;
Приходит смерть к нему как тать
И жизнь внезапно похищает.
Увы! где меньше страха нам,
Там может смерть постичь скорее,
Ее и громы не быстрее
Слетают к горным вышинам.

5. Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мецкерский, ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? Он там. — Где там? — Не знаем,
Мы только плачем и взываем:
« О горе нам, рожденным в свет! »

6. Утехи, радость и любовь
Где купно с здравием блитали,
У всех там цепенеет кровь,
И дух мятется от печали.
Где стол былъ яств, там гроб стоит;
Где пишествъ раздавались клики,
Надгробные там воют лики,
И бледна смерть на все глядит.

7. Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и серебре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны —
И точит лезвие косы.

8. Смерть, трепет естества и страх,
Мы — гордость с бедностью совместна;
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век.

9. Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;
Желанием честей размучен;
Зовет я слышу, славы шум.

10. Но так и мужество пройдет
И вместе к славе с ним стремленье;
Богатств стяжание минет,
И в сердце всех страстей волненье
Прейдет, прейдет в чреду свою.
Подите, счастья, прочь, возможны,
Вы все временны здесь и ложны:
Я в дверях вечности стою.

11. Сей день, или завтра умереть,
Перфильев! должно нам, конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою,
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

Таким образом, пересматривая теперь все поэтическое наследство Г. Р. Державина, жившего и творившего в рационалистическом и атеистическом восемнадцатом веке, мы приходим к совершенно ясному выводу, что этот великий русский поэт, современник Вольтера и материалиста Дидро, владевших умами многих людей того века, не шел у них на поводу, но, наоборот, противостоял им. Его подлинно русская душа, даже воспринимая непреодолимые в тот век тлетворные тенденции западно-европейской мысли, не подчинялась им слепо, но бережно и твердо хранила себе основные устои всей русской культуры — ее религиозное мироощущение и направленность к Богу.

« Без Бога ни до порога » гласит выраженная в пословице русская народная мудрость. Она же звучит и в пышных, громозвучных и даже громоподобных строфах лучших поэтических памятников, поставленных Гавриилом Романовичем Державиным своему пребыванию на грешной земле.

*Твое создание я, Создатель.
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель
Душа души моей и царь.
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну проходило
Мое бессмертное бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился
Отец! — в бессмертие Твое.*

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ

Связующим звеном между громозвучным, торжественным Державиным и ясным, сладкогласным Пушкиным в истории русской поэзии стоит Василий Андреевич Жуковский. Вся жизнь этого исключительного человека была проникнута идеей христианства и претворения этой идеи в творческое реальное добро. Не будем перечислять отдельных моментов его биографии. Достаточно вспомнить, что Жуковский был воспитателем и наставником государя Александра Николаевича, Царя-Освободителя, осуществившего целый ряд благостных для своего русского народа реформ, Царя-Узорешителя, несшего свободу и умиротворение нашим балканским братьям, все царствование которого было проникнуто стремлением к облегчению участи страждущих народов.

Поэтическое творчество В. А. Жуковского развивалось главным образом в области переводов с иностранных языков, преимущественно с немецкого. Он был как бы руслом, по которому западно-европейский романтизм вливался в русское русло. Но в этом русле глубоко христианской души Жуковского романтические веяния очищались, облагораживались и приближались к национально-русскому характеру.

Подлинный романтизм, всегда связанный с большим религиозно-метафизическим подъемом, внесен в русскую поэзию именно Жуковским. Он, действительно, своими переводами и одновременно гармонией всей своей личности создал на Руси «романтический климат». Почва была уже подготовлена. Во многих русских душах того времени, включая таких гигантов, как Пушкин, Лермонтов и Гоголь, было уже достаточно своего материала, своей индивидуальной подпочвы для рождения источника подлинного творчества в этом направлении. Но романтизм Жуковского синтезировал русскую и западную религиозность в характерный «евразийский» жанр. Более поздними выразителями этого вида поэзии на Руси были Фет, в музыке Чайковский и в дальнейшем — Блок и рано угасший Иннокентий Анненский. В их душах горела та же вера, но одновременно с этим на другом полюсе души сгущались смертные тени, вызванные утомленностью, разочарованием, глубоким духовным надрывом.

«Арфа Давида» звучала в стихах Жуковского новыми темами, созвучными библейским книгам Иова и Эклезиаста. Эта сторона творчества В. А. Жуковского, к сожалению,

еще мало исследована, но вечная Книга царит в сверхсознании и подсознании его самого и его невольных и вольных последователей. Отблески романтической потусторонности Жуковского мы встречаем потом хотя бы в исключительной по красоте картине вызова колдуном души Катерины в « Страшной мести » Гоголя, находим их и у Толстого в сне умирающего князя Болконского (« Война и мир ») и в целом ряде других замечательных фрагментов наших классиков.

Но вместе с тем западно-европейский романтизм наложил на поэзию Жуковского свойственные ему характерные тона оккультности — стремления к установлению связи с недоступным нашему взору, закрытым от нас загробным миром. Тонко ощущая в своей душе веяния потустороннего, непонятого, лишь чувствуемого, но не осознаваемого, лире Жуковского все же было дано, во-первых, христианизировать эти туманные влечения и, во-вторых, руссифицировать их, претворить западно-европейские образцы в чисто почвенные, национальные мотивы. Наиболее ярким доказательством этой стороны дара Жуковского является его поэма « Людмила ».

*Точно ль милый предо мной?
Где же был? Какой судьбой
Ты опять в стране родной?*

*.
Близ Наревы дом мой тесный,
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет —
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.*

*.
Поздно я пустился в путь,
Ты моя, мою будь...
Чу! Совы пустыни крики...
Слышишь? Пенье, брачны лики,
Слышишь? Борзый конь заржал.
Едем, едем, час настал...*

Душа самого поэта рвется в потустороннее, в лице приговоренной к могиле Людмилы. Она не может сознаться в том, что скачет рядом с трупом своего жениха и сама уже полутруп. Но вместе с тем конь ее неудержимо несет в запретное.

*Ночь давно ли наступила?
Полночь только что пробило.
Слышишь? Колокол гудит.
Ветер стихнул, бор молчит;
Месяц в водный ток глядится,
Мигом борзый конь домчится.
«Где ж, скажи, твой тесный дом?»
«Там, в Литве, в краю чужом.
» Хладен, тих, уединенный,
» Свежим дерном покровенный;
» Саван, крест и шесть досток.
«Едем, едем, путь далек».
Мчатся всадник и Людмила.
Робко дева охватила
Друга нежною рукой,
Прислонясь к нему главой.
Скоком, летом по долинам,
По буграм и по равнинам;
Пышет конь, земля дрожит;
Брызжут искры от копыт.
Пыль катится вслед клубами,
Скачут мимо них рядами
Рвы, поля, бугры, кусты;
С громом зыблются мосты.*

.
*Слышат шорох тихих теней,
В час полуночных видений,
В дыме облака толпой,
Прах оставя гробовой
С поздним месяца восходом
Легким светлым хороводом
В цепь воздушную слились
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики,
Будто в листьях повилики
Вьется легкий ветерок,
Будто плещет ручеек.*

Оккультные шорохи и веяния, вся метапсихическая неуловимая тайна смертного свадебного поезда, воскресшей средневековой «пляски смерти» заканчивается трагическими гробовыми мотивами, полными безнадежности и отчаяния, полной безисходности. Это и делает романтизм игрой с огнем, склонением над пропастью с неминуемой опасностью низвержения в нее.

*Конь мой, конь, бежит песок;
Чую ранний ветерок;
Конь мой, конь, быстрее мчися;
Звезды утренни зажглись,
Месяц в облаке потух.
Конь мой, конь, кричит петух!
Близко ль, милый »? — Вот примчались.
Слышат: сосны зашатались.
Слышат: спал с ворот запор.
Борзый конь стрелой во двор.
Что же, что в очах Людмилы?
Камней ряд, кресты, могилы,
И средь них — Божий храм.
Конь несется по гробам;
Стены звонкий вторят топот;
И в траве чуть слышен шопот,
Как угасший тихий глас.
Вот денница занялась.*

Слышим ли мы молитвенные напевы арфы Давида в этой поэме? Содержатся ли в ней благая весть о дарованной Спасителем вечной жизни?

Нет. Мраком и ужасом смерти наполнены все строки. Но благостное начало глубокой веры, неразрывное со всею психикой русского человека, одухотворяет струны его лиры и дает ему возможность преодолеть мрачные чары, вырваться из их оков к свету, возвещенному Словом Христа. В другой, созвучной по форме и по теме, поэме « Светлане » мгла и мрак романтики преодолены и рассеяны. В начале этой поэмы мы видим те же грозные эффекты черноключия — результат оккультных влияний:

*Вдруг мятелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Ворон каркает: печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Подымая гривы.
Брежжит в поле огонек,
Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом.*

Но в этой хижинке и в ее огоньке еще нет светоносного луча, нет спасения от мрака. Она содержит в себе тот же смысл, как и кладбище в « Людмиле ».

*Вот примчались... И в миг
Из очей пропали
Кони, сани и жених,
Будто не бывали.
Одинокая, впотьмах,
Брошена от друга
В страшных девица местах...
Круг мятель и вьюга.*

К девушке спускается, снисходит ангел молитвы. Оккультные чары рассеиваются. Они только кошмар, только бесовское наваждение. Начинается борьба ангела молитвы с бесом страшного небытия, мертвенного молчания.

*Возвратиться — следу нет...
Виден ей в избушке свет;
Вот перекрестилась,
В дверь с молитвою стучит...
Дверь шатнулася, скринит...
Тихо растворилась.*

Таинственный голубь оказывается победителем оккультных кошмаров и, вопреки ложному наговору бесовского ворона, перед Светланой не печаль, но просветление, брачная радость, соединение не с призраком-мертвецом, но с подлинным, истинным ее женихом. Такой конец поэмы совершенно логичен и ясен для просветленного духом Христовым ее творца. В нем — благочестие. В нем — устремление духа к Богу и упование на милость Его.

*Что ж?... В избушке гроб накрыт
Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит,
Свечка пред иконой...*

Мрачные кошмары, чары бесовского ворона будут ли они окончательно рассеяны?

*Ах, Светлана, что с тобой?
В чью зашла обитель?
Страшен хижины пустой
Безответный житель.
Входит с трепетом, в слезах,
Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась
И с крестом своим в руках
Под святыми в уголке
Робко притаилась.*

Молитва услышана. Благостный луч спасения рассеивает мрак.

*Все утихло... Вьюги нет...
Слабо свечка тлится,
То пролетит дрожащий свет,
То опять затмится...
Все в глубоком мертвом сне...
Страшное молчанье.
Чу, Светлана... в тишине
Легкое журчанье.
Вот глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.*

Поэма заканчивается объяснением религиозного смысла баллады и изумительным по форме и по силе «белым заклитием», просветлением, дарованным молитвою, простота которой неотразимо убедительна.

*Вот баллады толк моей:
Лучший друг нам в жизни сей
Вера в Провиденье;
Благ Зисждителя закон,
Здесь несчастье — лживый сон,
Счастье-пробужденье.
О, не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана...
Будь Создатель ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа, как ясный день;
Ах, да пронесется
Мимо бедствия рука!
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга!*

Ведь христианство и все с ним связанное есть прежде всего весть о радости. «Радуйтесь!» — вот как можно

резюмировать всю евангельскую проповедь в одном слове. Жуковский глубинно понял это и сумел высказать в своих строках, звучащих мелодиями вечной, бессмертной арфы Давида.

Пожалуй наиболее характерной для умонастроений преобладающих у Жуковского может быть названа великолепная в своем роде поэма «Теон и Эсхин». Эта поэма написана была в 1813 г., когда так живы были еще раны, нанесенные великому русскому романтику разлукой с Машей Мойер. Это была могила его любви, могила счастья первой и лучшей половины его жизни. Могила любви скоро превратилась в могилу любимой. Казалось, ждать было нечего и не откуда. Единственная надежда утешавшая еще на этой земле и притуплявшая жало скорби лютной — была надежда на собственную смерть, которую артист слова мыслил, как потустороннее соединение с отошедшей.

Но В. А. Жуковский был подлинный и твердый в своей вере христианин: он не мог себе позволить горькой и бесплодной роскоши отчаявшегося в бессмертии души пессимизма, как это имело место у шопенгауэрианца Фета. Жуковскому надлежало свершить над собой последнее усилие верующей надежды, согреваемой любовью. И вот, из под его пера вырываются величавые строфы поэмы, в которой язычник Теон изливает перед другом Эхином свою ясную, исполненную надежды печаль. Жуковский избирает языческие образы, перенося на них христианские обетования:

Теон указал, вздыхая, на гроб...

*Эсхин, вот безмолвный свидетель,
Что боги для счастья послали нам жизнь —
Но с нею печаль неразлучна.*

О, нет, не ротцу на Зевесов закон:

*И жизнь и вселенна прекрасны.
Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах
Я видел земное блаженство.*

*Что может разрушить в минуту судьба,
Эсхин, то на свете не наше;*

Но сердца нетленные блага: любовь

*И сладость возвышенных мыслей
Вот счастье, о друг мой! Оно не мечта.*

Эсхин, я любил и был счастлив;

Любовью моя освятилась мечта

И жизнь в красоте мне предстала;

*При блеске возвышенных мыслей я зрел
Яснее великость творенья;*

Я верил, что путь мой лежит по земле
К прекрасной, возвышенной цели.
Увы, я любил... и ея уже нет!
Но счастье вдвоем столь живое,
Навеки ль исчезло? И прежние дни
Вотще ли столь были прелестны?
О, нет: никогда не погибнет их след:
Для сердца прошедшее вечно.
Страданье в разлуке есть также любовь;
Над сердцем разлука бессильна.
И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин,
Обет неизменной надежды,
Что где то в знакомой, но тайной стране
Погибшее к нам возвратится?
Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,
Уже одиноким не будет...
Ах, свет, где она предо мною цвела —
Он тот же: все ею он полон.
По той же дороге стремлюсь один
И к той же возвышенной цели,
К которой так бодро стремился вдвоем —
Сих уз не разрушит могила.
Сей мыслью высокой украшена жизнь;
Я взором смотрю благодарным,
На землю, где столько рассыпано благ,
На полное славы творенье.
Спокойно смотрю я с земли рубежа
На сторону лучшая жизни;
Сей сладкой надеждою мир озарен,
Как небо сияньем Авроры.
С сей сладкой надеждой я выше судьбы,
И жизнь мне земная священна;
При мысли великой, что я — человек,
Всегда возвышаюсь душою.
А этот безмолвный, таинственный гроб...
О друг мой, он верный свидетель,
Что лучшее в жизни еще впереди,
Что верно желанное будет!
Сей гроб, затворенная ж счастию дверь,
Отворится ... жду и надеюсь!
За ним ожидает спутник меня,
На миг мне явившийся в жизни.
О друг мой, искав изменяющих благ
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои —

*Ты жизнь презирать научился.
С сим гибельным чувством ужасен и свет;
Дай руку! близ верного друга
С природой и жизнью опять примиришь;
О, верь мне прекрасна вселенна!
Все небо нам дало, мой друг, с бытием;
Все в жизни к великому средство;
И горесть и радость — все к цели одной:
Хвала жизнодавцу — Зевесу!*

Вторая часть « Теона и Эсхина » представляет собою проникнутое стилизованным ароматом средиземноморской античности изложение философского и богословского мирозерцания самого автора.

Здесь, что ни стих — то глубокий богословско-метафизический афоризм, драгоценный вклад в трудную и рискованную область философии и богословия.

Поэт-мыслитель учит нас понимать смысл жизни и всего сотворенного и созидать в своей душе прочное основание веры в Бога-человеколюбца, при наличности царящих в мире скорбей и смерти — прежде всего.

В поэме содержится еще и великолепно набросанная космология — учение о мире, проведенное в тонах христианского УПОВАНИЯ НА БЛАГОЙ ПРОМЫСЕЛ ТВОРЦА, ВЕДУЩЕГО НАС ЧАСТО, ПОЧТИ ВСЕГДА КРЕСТНЫМ ПУТЕМ, К БЕРЕГАМ ЛУЧШЕГО МИРА.

ВЕЩИЙ ПУШКИН.

Все мы, русские люди, настолько привыкли любить и ценить солнечность, жизнерадостность великого Александра Сергеевича Пушкина, настолько зачарованы кристально-ясными каскадами его светлых стихов, что нам трудно представить себе этого поэта иным — скорбящим, кающимся, жаждущим очищения и возрождения своего духа. Но есть и такой Пушкин. Он наиболее ясно виден в стихах « Безумных лет », « Возрождение » и в особенности в стихотворении « Когда для смертного умолкнет шумный день », которое философ В. В. Розанов сопоставляет с пятидесятым псалмом Давида « Помилуй мя, Боже ». Это стихотворение оставило по себе глубокий след во всей русской литературе, даже, казалось бы, в столь несозвучном Пушкину творчестве А. П. Чехова, который в повести своей « Дуэль » изображает падение и возрождение человеческой души. Взяв зерно от Пушкина, а через него от царя-псалмопевца, Чехов делает в ней даже больше, чем удалось сделать Пушкину. Его Лаевский падает безмерно низко, но потрясенный приходит к моральному возрождению. Эта повесть так же глубока и убедительна, как вдохновившие ее стихи. Также и знаменитые стихи :

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.*

*Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать.
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.*

*И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, трудов и тревоженья.*

*Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь
И может быть на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.*

Основная мысль этого стихотворения — путь очистительного страдания и принятие дара жизни, как имеющего положительную ценность.

Другое стихотворение, посвященное той же теме, не напрасно названо выразительным именем « Возрождение ». Его необычайная, поражающая нас и до сих пор своей новизной внутренняя тема — суд над самим собой, своим собственным « я », анализ этого « я », ведущий к искуплению и очищению.

*Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
На ней бессмысленно чертит.*

*Но краски чуждые спадают,
Годами ветхой чешуей;
Картина гения пред нами
Выходит с прежней красотой.*

*Так исчезают заблужденья
С души измученной моей:
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней.*

Как все то, что приближается к сфере божественного, очищающего и переплавляющего огня, это стихотворение чисто, ясно, понятно и точно. В нем каждое слово и каждый эпитет на месте, но вместе с тем все необыкновенно, непривычно, быть может, даже, парадоксально.

« Я », то-есть искаженная грехом природа творящего духа лишается художественного дара. Ведь призвание поэта выражается во всем, что он пишет, освещает каждое его творение. Гений, подобно благодати священства, или, брачного союза, неотменим и неразделим. Его дар есть тайна Божия. Но неотменим также и закон греховности. В грехе содержится то чуждое, « варварское », приходящее к человеку извне, не всегда, но лишь в особых случаях. Говорят тогда, что этот человек « гибнет », или, что он уже совсем « погиб »... Но сам грех в качестве чужеродного гению элемента, хотя бы и замаскированного гениальной формой, чернит, пачкает скрывает дар Божий, потому что грех сам по себе метафизически несовместим с самой природой гениальности. Он — метафизическое беззаконие, « насилие чуждого », « работа вражья ». Он находится в полном противоречии с Логосом, с творческой мыслью, противостоит образу, по которому создан человек и, следовательно, сам антилогичен, « метафизически глуп », даже будучи блистательным для очей, ослепленных « похотью плоти и гордостью житейской ». Греховные краски ли-

шенные органического скрепления с сердцевиной, лишены и божеского благословения и увядают, спадают, подобно листьям бесплодной смоковницы. Единственным источником свежести, молодости и красоты является сам Бог. « Обновится, яко орля, юность твоя », поет царь-псалмопевец, ощущая всем существом этот единственный источник молодости и красоты. Греховность же несет с собой старость, уродство и смерть. « Ветхая чешуя » — вот чем в конечном счете является грех. Преодолевший его, отвернувшийся от него, избравший иную дорогу, то-есть покаявшийся в глубинном смысле этого слова получает возрожденную душу, очищается для вечной молодости перед лицом Дарующего эту молодость.

В дивном стихотворении « Когда для смертного умолкнет шумный день » с необычайной силой выражены красота покаянных обновляющих слез и глубочайшее органическое отвлечение А. С. Пушкина ко всему безобразному, искажающему и греховно искривляющему пути человеческой жизни.

*Мечты кипят. В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток,
Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивают свиток.*

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная
И горько жалеюсь и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

В этом идущем от самого сердца поэта стихотворении он стремится осознать вины своего прошлого и искупить их страданием, выстрадать себе выздоровление. Только такое выздоровление и будет истинным и вечным. (В дальнейшем эту тему углубит и широко развернет Федор Михайлович Достоевский). Проф. С. Л. Франк не ошибался, когда отнес Пушкина к числу подлинно христианских поэтов. Для христианства самым типичным является сознание своей греховности, омерзение к себе и к ней, и слезы раскаяния. Всем этим Пушкин был наделен с избытком. Косвенных данных в пользу этого тезиса — не оберешься. Среди же многочисленных прямых данных, кроме уже приведенных, назовем еще « Отцы пустынники »:

*Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,*

*Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великаго поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И пашиаго свежит с неведомоу силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалиа, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть, мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения и любви
И целомудрия мне в сердце оживи ».*

Поэтический дар — великая милость Господня, даруемая им своим избранныкам. Поэт одновременно и вдохновенный псалмопевец и проникновенно смотрящий в будущее пророк. Этой глубокой, древней, еще библейской теме Пушкин посвятил одно из лучших своих стихотворений — « Пророк », — теме божественного призвания и пророческого проникновения. Оно органически связано с другим — « Поэт и чернь », ибо тайна подлинного призвания есть вместе с тем и тайна очищения своего духа. Не может быть сомнения, что « зерном » для « Пророка » Пушкина послужили слова пророка Исаии: « И сказал я: горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа... Тогда прилетел ко мне один из серафимов и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: Вот это коснулось уст твоих и беззаконие удалено от тебя и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: Вот я. Пошли меня » (Исаия, 6, 5-8).

Сравним эти строки древнего библейского пророка со стихами нашего великого поэта:

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Моих зениц коснулся он,
Отверзлись веющие зеницы,
Как у испуганной орлицы.*

*Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон,
И внял я неба содроганье
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И польней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую вдовинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
« Восстань, пророк, и виждь, и внемли!
Исполнишь волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.*

Какой поразительный параллелизм не только в содержании слов пророка и слов Пушкина, но даже и в общности внешних поэтических красот. Напомним, что эта тема потрясала изможденную страданием душу Ф. М. Достоевского, и он сам столь пламенно и увлекательно декламировал « Пророка », что его просили об этом при всех его публичных выступлениях.

Стихотворение « Пророк » дает гениально написанную картину самого процесса преображения всей природы человека, вскрывает тайну его личности, раскрепощения его воли. Ведь « Пророк » Пушкина, не теряя своей свободы, преображаясь, обретает новую волю и новую свободу для подвига исполнения воли Господней, в открытом ему познании того, что пребывание человеческой души вне Бога — позорное рабство, у « варвара », у сатаны, а не свобода. И в « Пророке » и в ряде других созвучных ему стихотворений Пушкин утверждает, что эта дарованная « варваром » обманчивая свобода только завлекательный призрак, что она лжива, так как исходит от сатаны и его рабов, на оскверненной грехом и кровью земле.

В метафизическом смысле стихотворение « Пророк » драгоценно тем, что являет собою точную картину преобра-

женных вдохновением органов чувств, окончательно разрывающих свою связь с низменным, пошлым, ползучим. Эти чувства и их органы путем преобразования ведут человека в область космического, всеобъемлющего знания.

Перейдем к другой, гениально разработанной А. С. Пушкиным теме — теме подвига иноческой аскезы. В образе Пимена (« Борис Годунов ») Пушкин рассматривает эту тему в чистом национально-русском духе. И снова звучат покаянные мотивы... Ведь в русском религиозном сознании монашеский чин есть прежде всего чин покаянный. В основе всей русской религиозной идеи лежит именно иночество, как идеал, как образец для подражания ему, и не случайно, что почти все московские великие князья и русские цари, вплоть до Смутного времени, принимали постриг на смертном одре. Принимая смиренный иноческий чин, русский человек, будь он царь или нищий, был объят стремлением стать иным, очиститься, освободиться от « ветхого Адама », стать самому новым, с обновленной и обеленной душой, чтобы таковым предстать перед Господом. Русская религиозная мысль и русское религиозное чувство чрезвычайно близки в этом порыве к боговдохновенным главам Откровений Иоанна. В русской же литературе образ русского инока с максимальной силой и собранностью выражен Пушкиным в его Пимене.

Раскрывая перед читателями грядущих поколений сущность иноческого подвига, Пушкин видит в центре его монашеский обет отречения от соблазнов мира сего и прежде всего от своего собственного греховного прошлого.

*Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяют слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим наслаждался,
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь Господь меня привел.*

Пушкин в целом похож на бушующий океан: на поверхности — разъяренная стихия, а в глубине — великая тайна божественного бытия — благодать. Эту тайну он глубоко чувствует, и не раз подходит к ней в своих лучших творениях. Тайна эта пророческая, молитвенная, иноческая...

Тайна этой внутренней концентрации всех своих духовных сил влекла Пушкина на всем его жизненном пути как вечный

« ведущий образ ». Поэтому, будучи в суетной жизни грешником, Пушкин был вместе с тем и проникновенным христианином. В нем, быть может в связи с его огненным темпераментом, кипели и бурлили пламенные героические порывы, прежде всего сказывавшиеся в идее жертвенной борьбы за родину. Герой и гений были в самом Пушкине как бы в наличности, а святость была в потенции, в возможности, в стремлении к ней. Не будет парадоксом сказать, что к ней самого поэта вели его порочность и греховность, вызывавшие в нем неудержимое отвращение к греху и пороку, объединявшиеся с покаянными порывами. Это и делает творения Пушкина при углубленном чтении их — поэтически оформленной школой святости и красоты, а через святость и красоту — ведущей к восприятию и утверждению в себе религиозно-христианской морали. Но для этого нужно уловить и понять ведущий образ Пушкина, его « звезду надзвездную », его « светлый идеал », о котором он с доводящим до слез, порывом говорит в послесловии к « Евгению Онегину »:

*Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал...*

Эти слова Пушкина написаны им, несомненно, о его таинственном и святом ведущем образе. Проливая слезы над тем, что « рок отъял » у него, Пушкин заповедует потомкам становиться таким же роком для самого себя, стремиться властвовать над собственной судьбой. Пушкин требует добровольного отказа от того, что он именует « праздником жизни » и что святой апостол Иоанн Богослов называет « похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской ». Ведь именно эти элементы, объединившись составили тот лютый круг, замкнувший поэта, в котором он был замучен и возведен на Голгофу тех двух страшных ночей очищения, которые он пережил прежде чем « взлетел во области заочные ».

Тот же мотив отрешения слышится и в уже приведенном отрывке речи Пимена в « Борисе Годунове »:

*Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты...*

Ведущий образ Пушкина был органическим сочетанием преподобного и мученика. Преподобничество и пророческая лира были в нем разьединены, но их соединило мученичество поэта в последние ночи перед переходом к Вечности.

Пушкин любит свой ведущий образ, стремится к нему всей душой и видит этот образ не только в облике русского инокa. Ему столь же понятны и близки возвышенные, одухотворенные порывы западно-католических воинов рати Христовой, рыцарей-крестоносцев. Он преклоняется перед их жертвенным отречением от благ земных и воспарением их душ к лучезарному христианскому идеалу. Чтобы понять это, перечтем « Рыцаря бедного »:

*Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.*

*Он имел одно виденье,
Непостижное уму
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.*

*С той поры, сгорев душою,
Он на эсениин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.*

*Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не поднимал.*

*Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте
А.М.Д.* своею кровью
Начертал он на щите.*

Как же совместим мы блистательный поэтический облик упивающегося радостью бытия и много грешившего в своей земной жизни Александра Сергеевича Пушкина с высокой, величественной умудренностью всю жизнь не покидавшего его, но владевшего им ведущего образа?

Мы все любим и помним балладу Пушкина « Песня о вещем Олеге », учили в детстве ее наизусть и всегда считали это его произведение данью русской исторической романтике. В глубокий философский смысл этой баллады редко кто пытался проникнуть. А между тем « вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветов грядущ-

* А.М.Д. сокращение слов: Ave Maria, Domina (Радуйся, Дева Мария, Владычице).

щего вестник » не кто иной, как двойник самого поэта. Это легко доказать. В другой своей замечательной диалогической поэме « Поэт и чернь » Пушкин сравнивает себя со жрецом Аполлона, таинственного античного божества, повелителя вдохновлявших искусства муз. В античном мифотворчестве Феб-Аполлон являл собою божество Логоса, проникающего в самую суть вещей, составлял некоторую ступень по пути человеческой мысли к Богу-Слову. В миропонимании античного человека Феб-Аполлон сочетал в себе мудрость знания с мудростью провидения и интуиции. Также в балладе « Песня о вещем Олеге » сходятся для проникновенной беседы-диалога два представителя и выразителя мудрости, два вещих существа. Одно из них грозный государственный муж и воитель, любимец победы, но вместе с тем и « вещий » Олег, другое — таинственный мудрец, отшельник, прорицатель, углубленный в себя интуит, отвергший все потерявшие для него цену земные блага с их суетой.

*Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен.
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле,
Но вижу твой жребий на светлом челе...*

Первый — весь на земле, на людях. Он, как и всякий герой внешнего, даже блистательного дела — существо социальное. Его мудрость в умении управлять человеческим обществом, вести его к материальным победам.

*...Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Царяграда;
И волны, и суша покорны тебе,
Завидует недруг столь дивной судьбе.*

*И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды;
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы...*

*Под грозной броней ты не ведаешь ран,
Незримый хранитель могучему дан.*

Кто он, этот незримый хранитель, и когда он допустит к Олегу неизбежную смерть, сам Олег, мудрец материального мира, не знает. Но это ведомо мудрецу мира надматериаль-

ного, мудрецу-интуйту, покорному лишь высшему существу кудеснику — двойнику Пушкина. Два эти образа исчерпывающе характеризуют разницу обоих видов мудрости: земной, материальной Олега, и, потустороннего прозрения кудесника, поэта, прорицателя, которому ясна и понятна книга судеб. Также сочетались и в богатой всеми дарами Господними многогранной душе Пушкина владевшие им земные суетные страсти и ведущий его к подъему в горние высоты ведущий образ, его глубоко христианский религиозно-моральный идеал.

По свидетельству близких друзей Пушкина, присутствовавших при его последних минутах, умирающий поэт, уже впад в агонию, несколько раз повторил слово « Лестница, лестница, лестница... » Его искаженное страданием лицо при этих словах просветлело, и присутствовавшим казалось, что он действительно видит какую то ведущую в высь лестницу, озаренную горним светом.

Вся жизнь Александра Сергеевича Пушкина была именно такой лестницей, по ступеням которой он постепенно, поднимался к познанию воли Всевышнего. Начав свою поэтическую деятельность с подражания чисто языческим образцам Анакреонта и его позднего последователя Парни, Пушкин шаг за шагом углублял свое религиозное мироощущение. Последние два дня его жизни были окончательным просветлением. Хочется верить, что в свои предсмертные минуты, он действительно видел открывшуюся ему лестницу Иакова со ступенями, ведущими в рай.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

У графа Льва Николаевича Толстого есть дивный рассказ « Чем люди живы ». В основу этого рассказа писателем положен древний апокриф, повествующий о том, как архангел Михаил за непослушание Господу был послан им временно на землю и как он страдал, пребывая там в человеческом облике, в то время как его ангельский дух стремился в надзвездные миры. Носивший его имя великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов всю свою жизнь и всем своим кратковременным, но безмерно глубоким и насыщенным мыслью и эмоциями творчеством как бы повторяет этот рассказ. Чем ближе знакомимся мы с поэтическим наследием Лермонтова, тем более становится он для нас загадочным и вместе с тем религиозно одаренным, возвышенным, устремленным к небу, тоскующим о нем. Душа Лермонтова представляется нам именно такой ангелоподобной душой, временно водворенной в бренное человеческое тело, но непрерывно тоскующей по утраченному ею потустороннему миру. Конечно, такой ангелоподобный внутренний образ очень трудно совместить в нашем сознании с физической внешностью Лермонтова, блестящего гусарского корнета одного из лучших полков Императорской гвардии, Лермонтова — светского кавалера, Лермонтова — остроумного насмешника в духе его века и порою даже бреттера.

Ангел в расшитом золотом доломане, с волочащейся саблей, распахнутом за плечами ментике, звенящий серебряными шпорами... Как будто бы до нелепости дико и вместе с тем:

*По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.*

*Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.*

*Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.*

*И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

Это стихотворение написано М. Ю. Лермонтовым в 1831 году, то-есть когда поэту было всего семнадцать лет, когда «звук песни» ангела, несшего его душу в мир, был еще свеж в его сердце, не был покрыт наслоениями земных впечатлений, сопряженных со страдальческой юдолью, ибо вся земная жизнь безвременно погибшего поэта была томлением его духа — терзанием и тоской.

Страдания этой принесенной в земной грешный мир ангелоподобной души вели прежде всего к ее обособлению и одиночеству среди людей, самому тягостному виду одиночества. Мотив этого одиночества сквозит почти во всех стихотворениях Лермонтова. Он тесно, неразрывно сплетен с другим, также основным для поэзии Лермонтова напевом о влекущем и манящем его далеком, неведомом мире, то ли утраченном, отзвуки которого сохранились лишь в подсознательной памяти, то ли грядущем, переход в который — тайна смерти.

*Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?*

*Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы! Он счастья не ищет,
И не от счастья бежит!*

*Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой;
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!*

Припомним некоторые черты из биографии Лермонтова. В противоположность его ближайшему предшественнику в поэзии и современнику в жизни (с которым он, между прочим, никогда не встречался) А. С. Пушкину, имевшему множество душевных друзей и еще более владевших его сердцем женщин, — ни одного глубокого сердечного друга не было у М. Лермонтова и ни одна женщина не владела его сердцем. Мы знаем, что наиболее близким ему был родственник по матери — Столыпин, но разве можно сравнить

дружбу с ним М. Лермонтова с сердечной близостью Пушкина с Пушковым? Мы знаем также о его полудетской влюбленности в Сушкову, не встретившей отклика у нее и вызвавшей в душе поэта лишь злобное, мстительное чувство. Мы знаем о его изящном эпистолярном флирте с Лопухиной.

Но куда же ведет оно душу поэта? Только к утраченному, но духовно не забытому надзвездному миру.

*Выхожу один я на дорогу...
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит.*

*В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего? Жалею ли о чем?*

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя;
Я б хотел забыться и заснуть...*

*Но не тем холодным сном могилы;
Я б ждал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;*

*Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.*

Что это — лирическое стихотворение или молитвословие Создателю среди внемлющей его гласу пустыни от тоже внемлющей ему души « гонимого миром странника ».

Либеральные критики, а с их слов столь же либеральные учителя русских гимназий внушали нам, старому поколению, а теперь внушают и новым, подрастающим русским людям, ходячий ярлык о том, что Лермонтов был байронистом, подражателем крупнейшему английскому, бесподобному по форме но трудному в духовном отношении поэту Байрону. Свои утверждения они основывают прежде всего на крупнейшей поэме М. Лермонтова « Демон », героем которой является прекрасный по внешнему облику Люци-

фер, он же гордый Манфред, он же сверхчеловек позже
пришедшего в мир Фридриха Ницше.

Так ли это?

*Нет, я не Байрон, я иной,
Еще неведомый избранник*

пишет сам о себе Лермонтов — и в своей поэме «Демон» не следует люциферианской схеме Байрона, но разрушает и преодолевает ее. Припомним конец этой поэмы. Во что превращается безмерно прекрасный ее герой, когда его злая природа вступает в борьбу с посланником Бога, носителем любви и всепрощения, ангелом, отнимающим у царя ада душу девы Тамары, уносящим ее в горные страны, к Престолу Господню. Как разом преображается его лик, исчезает красота и на смену ей проступает жуткий всеистребляющий огонь зла.

*Издалека уж звуки рая
К ним доносились, как вдруг
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.*

*Он был могуч, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя.
И гордо в дерзости безумной
Он говорил: « Она моя ! »*

*К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась:*

*Пред нею снова он стоял,
Но, Боже, кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом*

*Вражды, не знающей конца;
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.*

Демонический эрос обращается в безобразного носителя злобной сатанинской силы, в символ тьмы кромешной. Но может ли небытийственный хаос победить светлый райский луч?

*Узнай: давно ее мы ждали ! (говорит ангел демону)
Ее душа была из тех,*

*Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недостигаемых утех.*

*Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира
И мир не создан был для них.*

*Ценой жестокой искутила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила
И рай открылся для любви.*

Не душа ли самого Лермонтова, струны которой были созданы Творцом из лучшего эфира, изображена в этих строках, душа, созданная не для нашего бренного, земного мира, но для иных, высших миров. В этом случае мы встречаемся как бы с поэтически-словесной иконописью. Пред нами уже не поэма, а картина борьбы небожителя — слуги Господня с воспрянувшим из царства тьмы владыкой зла, борьба за человеческую душу, то-есть именно то, что представляет собой наша земная жизнь. Чем заканчивается эта борьба?

*И ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сияньи неба потонул.*

унося с собою в горние высоты заблудшуюся на грешной земле, но чистую во всепрощении Христа душу Тамары. Тайна лермонтовской поэтической музыки и одновременно таинство его внутренней жизни выходят далеко за пределы того, что мы можем проанализировать и понять нашими органами чувств. Весь Лермонтов потусторонен. Реальная, земная, весомая и ощутимая жизнь для него только временное марево, декорация, которой он сам не верит. Его физический двойник и вместе с тем темный лик самого Лермонтова « герой нашего времени » Печорин не верит ничему, ни любви преданной ему женщины (Веры), ни страсти увлеченной им девушки (княжны Мэри), ни дружбе простоватого, честного офицера (Максима Максимовича), ни даже самому себе. Им владеют сомнения во всем окружающем и его влечет куда-то в неизвестность таящаяся в нем сила. Куда? Двойник Лермонтова Печорин этого не знает, но знает это сам Лермонтов: только к Богу, только в тот мир

устремляется его тоскующая на земле душа. « Внутренний, » ангелоподобный Лермонтов, смиренно принимает наложенные на него Творцом земные испытания, не ропщет, не протестует, не богоборствует. Молитва — единственное русло, по которому устремляется его дух в тяжкие минуты земного бытия.

*В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.*

*Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.*

*С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...*

Какова же эта молитва? Только ли славословит Господа поэт, приносит ли он покаяние в содеянных им самим грехах, просит ли у Бога облегчения от давящей его тяготы? Нет. Не только это. И сама личность поэта, его « я » остается как бы вне молитвы. Для себя — ничего « не за свою моллю душу пустынную », но за душу человеческую, за искру, вложенную в тело человека Господом, за очищение и охранение этого священного огня.

*Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием.*

*Не за свою моллю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.*

*Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования.*

*Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.*

Последние строки этого стихотворения сокращенно повторяют мотив заключительных глав « Демона ».

Образ пророка, богоизбранного всеведца, волнует Лермонтова столь же сильно, как Пушкина, и его пророк развивается и продолжает пушкинскую идею. Но в то время, как Пушкин не изображает неизбежного конфликта избранника Божия с окружающей его грешной толпой, Лермонтов ясно ощущает этот конфликт и ставит его основной темой стихотворения. Его « Пророк » не столь могуч и властен, как пророк Пушкина. Он не может или не хочет « жечь глаголом » загрязненные сердца людей; и вот его проповедь правды и любви встречена градом камней и сам он, гонимый, обречен на одиночество в пустыне.

*С тех пор, как Вечный Судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.*

*Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.*

*Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.*

*Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная,
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.*

*Когда же через шумный град
Я пробираться торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:*

*« Смотрите, вот пример для вас!
» Он горд был, не ужился с нами:
» Глупец — хотел уверить нас,
» Что Бог гласит его устами!*

*» Смотрите ж, дети, на него,
» Как он угрюм, и худ, и бледен!
» Смотрите, как он наг и беден,
» Как презируют все его! »*

Это стихотворение написано Лермонтовым в 1841 году, то-есть уже в год его смерти, когда он на печальном жизненном опыте познал все тяготы пророческого дара. Отсюда глубокий реализм его строк, и образ пророка, пророка наших дней встает перед глазами читателя.

Но подлинный пророческий дар, столь близкий к дару поэта, был ниспослан Лермонтову много раньше. Уже шестнадцати лет он пишет свое замечательное стихотворение «Предсказание», каждая строчка которого теперь, через сто лет, осуществляется на наших глазах.

*Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним презсную любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;*

*Когда детей, когда невинных эсен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,*

*Чтобы платком из хижин вызывать...
И станет глад сей бедный край терзать,
И зарево окрасит волны рек.
В тот день явится мощный человек,*

*И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя! Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смехом;*

*И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.*

Можно ли назвать чем-либо иным, кроме пророчества, эту точную до деталей картину нашей многострадальной родины, написанную за сто лет до того шестнадцатилетним мальчиком, Лермонтовым? Материалисты и позитивисты пытаются, конечно, заменить религиозный термин «пророчество» другими словами типа эмоция, подсознание и т.д. Но изменяется ли что-либо от этого? Субстанцию пророческого дара Лермонтов сохранил до конца своей жизни и замкнул цепь своих предсказаний картиной своей собственной физической смерти.

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;*

*Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.
Лежал один я на песке долины,
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне;
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена.
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана
И кровь лилась хладеющей струей...*

В первой части стихотворения со снова изумляющей нас точностью даны все подробности первых часов после роковой дуэли, когда оставленное на месте секундантами тело поэта двенадцать часов пролежало под палящим солнцем и ливнем разразившейся грозы. Во второй же части поэт рассказывает о какой-то тоскующей о нем, как о человеке, дева, о сне ее души. Но биографические сведения о поэте не дают нам не только никаких указаний, но даже намек на то, что эта дева существовала в действительности. В реальном мире ее не было и вместе с тем она была. Не только была, но и живет теперь. Эта чистая дева — та идеальная человеческая, очищенная от зла душа, которую ангел принес на землю в своих объятиях и которая, томясь в своей юдоли, смиренно ждала возврата в горние миры, потому что « звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли ».

Чтобы лучше понять « ангелизм » лермонтовской музыки, посмотримся к ней в часы, когда она созерцает отблеск божественной красоты в природе.

*Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива,
Под тенью сладостной зеленого листка;*

*Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль в утра час златой,*

*Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;*

*Когда студёный ключ играет по оврагу,
И, погружая мысль в какой то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу,
Про мирный край, откуда мчится он, —*

*Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...*

Последняя строфа и последняя строка приведенного бес-
подобного по своей музыкальности стихотворения Лермон-
това исключает не только материальные, но и формальные
основания по обвинению в пантеизме. Следует вспомнить,
что у Лермонтова не только Бог, Христос, Божья Матерь,
Ангелы и Святые — строго определенные личные существа,
но таковыми оказываются и начальник тьмы — демон и
его духи.

В отрочестве и в юности местопребыванием души Лер-
монтова было с небожителями... и если и бывал он « пад-
шим ангелом » — то не надолго и подымался потом все выше
и выше...

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭЗИЯ В. С. СОЛОВЬЕВА

В. Соловьев был натурой артистически-импрессионистического характера чрезвычайно своенравный, своевольный, выше всего ценивший свою собственную свободу духа и творчества и нетерпевший ни малейшего давления или того что ему казалось давлением ни с какой стороны. Умерши 47 лет от роду он оставил после себя очень большое литературно-философское наследство. В это наследие входят произведения самого разнообразного характера. Тут и чисто философские исследования как например великолепный том « Критика отвлеченных начал », исключительно изящные и совершенные по форме и содержанию статьи для « Энциклопедического словаря » Брокгауза и Эфрона, тут и грандиозные богословские сочинения как например: « Чтения о богочеловечестве », « История и будущность теократии » (1887), серия статей по специальному очень его интересовавшему его вопросу об отношениях Рима и Православия; тут и очень характерное религиозно-философское громадное по размеру « Оправдание Добра » (1897), много критических статей, много публицистических набросков, опытов, очень интересная переписка, наконец исключительное значение имеет его поэзия. Значение поэзии В Соловьева многообразно. Хотя он и находился в русле воздействий таких крупных поэтов как А. К. Толстой, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, Я. П. Полонский, и др., однако его поэтическая сокровищница, хотя и не большая по размерам, но чрезвычайно ценная по содержанию есть явление совершенно самостоятельное. В огромном своем большинстве это либо лирические выражения его религиозных переживаний, либо теософско-гностические и даже пророчески-пифические и орфические вещания. Здесь не мешает заметить, что дух пророческий вообще свойственный религиозным писателям был в высокой степени присущ В. Соловьеву. Он выражался либо в поэзии, либо в таких диалогически-драматических произведениях как « Три разговора » и « Повесть об антихристе », в непосредственных глубоко символических действиях.

Софийной небесной голубишной окрашены большинство из его поэтических произведений, не говоря уже о том, что сама тема Софии — премудрости Божией таинственного вечно женственного начала было его музой вдохновительницей. Со времени Владимира Соловьева эта тема окрасилась в совершенно особые цвета и прозвучала совершенно осо-

быми мотивами и мелодиями как в новейшей русской религиозно-философской мысли так и в поэзии. Несомненно одно, что не будь Владимира Соловьева не было бы трех четвертей новой русской поэзии и уж конечно не было бы Блока целиком воспринявшего и своеобразно преломившего софийную тематику В. Соловьева. Этим быть может и объясняется почему так необыкновенно звучат и выглядят совершенно по новому старые как мир темы когда за них брался Владимир Соловьев. Возьмем например тематику Рождества Христова:

*Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений —
И не погибнет то, что раз в душе зажглось.*

*Великое не тщетно совершилось
Недаром средь людей явился Бог,
К земле не даром небо преклонилось —
И распахнулся вечности чертог.*

*В незримых глубинах сознания векового
Источник истины течет не заглушен;
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит как похоронный звон.*

*Явился в мире свет — и свет отвергнут тьмою,
Но светит он во тьме где грань добра и зла.
Не властью внешнею, но правдою самую
Князь века осужден и все его дела.*

В этом стихотворении в котором звучат мотивы преодоленного пессимизма, менее всего можно уловить так же и мотивы оптимистические. Оно по ту сторону оптимизма и пессимизма как и явленное в нем начало христианства. Пожалуй не так громозвучно, но более тонко звучит другое рождественское стихотворение замечательное тем, что в нем разработана литургическая тема Великого повечерия кануна Рождества: « С нами Бог »:

ИММАНУ-ЭЛЬ

*Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда устав от злобы и тревог
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-нами-Бог.*

*И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.*

*Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.*

*Да! С нами Бог — не там в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном
И не в уснувшей памяти веков.*

*Он з д е с ь, т е п е р ь, — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!*

БОРИС ПАСТЕРНАК И ЕГО ПОЭЗИЯ

Борис Пастернак, родившийся в 1890 г. был как бы явлением пограничным между двумя эпохами, как бы синтезом всевозможных антагонизирующих сил ведущих образов. Литературный диапазон его деятельности был в высшей степени широк. Он и мастерской переводчик, и ученый комментатор своих же переводов, и блестящий критик совершенно свободный от предвзятостей и тенденциозностей откуда бы они ни исходили, он и крупный поэт и пожалуй самый крупный прозаик СССР послереволюционной эпохи.

Мирозерцание его, как это ясно и из его собственных признаний, так и из текстов его поэзии и прозы — типичный, так сказать, ХРИСТОЦЕНТРИЗМ.

Это значит, что его основным ведущим образом, идеалом красоты нравственных оценок и основным стимулом творчества является внутреннее поклонение и внутреннее держание в себе живого образа Христа-Богочеловека. Это видно и из самого замысла романа « Доктор Живаго » — центрального явления его творчества. Это видно так же из его поэзии — как прикровенно так и совершенно открыто, т.е. из акта вдохновения почерпаемого из основных событий Евангелия, жизни Церкви и ее праздников.

Только исходя из хронологической и культурной принадлежности Б. Пастернака к духовным движениям конца 19, и начала 20 века можно должным образом подойти к его поэзии, прозе и литературно-критической и переводческой деятельности.

Одно из его лучших стихотворений, где так умно и тонко соединились мотивы Шекспира и религиозно-философской проблематики русского Ренессанса, так и называется — « Гамлет » (— невольно приводя на память стихотворение того же заглавия Александра Блока):

ГАМЛЕТ

*Гул затих. Я вышел на подмошки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.*

*На меня наставлен сумрак ночи
Тысячи биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.*

*Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.*

*Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я, один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.*

Так же как и у Шекспира смысл этого стихотворения — трагедия жизненного пути человека высших умственных запросов и высшей одаренности. Нести ему приходится двойное иго: не только иго личной драмы, того самого креста который предназначен нам Богом и у людей творчества определяется призванием, но еще и крест ужасов социально-политической действительности, тех ужасов которых кажется иногда никому не снести. Этот «крест» идущий не от Бога даже в сущности и не может быть назван крестом, но оказывается несносным дьявольским наводнением; его то решительно и отказывается нести без ропота наш автор. Это стихотворение можно было бы еще назвать заглавием одной из знаменитых драм Бьернстерне-Бьернсона: «Свыше наших сил».

Это действительно и всерьез гамлетовское стихотворение есть лейтмотив не только всей жизненно поэтической и писательской темы Бориса Пастернака, не только лейтмотив его романа «Доктор Живаго», но еще и показатель его совершенно особой манеры — удачной органической цитации целых стихов, строф из Священного Писания и литургических текстов. В этом смысле наш поэт действительно явление исключительное. Ибо у него в большом синтезе взято все: и русская напевность, и русский пейзаж, и русская природа, и, что самое главное, русская молящаяся душа:

НА СТРАСТНОЙ

*Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
Если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение псалтири.*

*Еще кругом ночная мгла:
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетия.*

*Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И бьет водовороты.*

*И лес раздет и не покрыт,
И на страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.*

*А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.*

*И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.*

*И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг на встречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.*

*И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.*

*И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как-будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.*

*И пенье длится до зари
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтир или апостол.*

*Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усиьем воскресенья.*

Только Борису Пастернаку было под силу, оставаясь самим собой, «цитировать» Блока, — иногда перенося в себя его внутреннюю музыку, иногда целые обороты. Например, у Пастернака:

И взгляд их ужасом объят.
у Блока:

Предвечным ужасом объят.

В декорациях — обоих поэтов роднят мотивы ужасов и грандиозных красот русской природы — особенно зимы и весны, и жуткие ужасы русского города. Но у Блока религиозные мотивы внутренне обессилены глубочайшим отчаянием (это самый трагичный из великих русских поэтов); у Бориса Пастернака есть сила преодолеть это отчаяние упором в подлинную религию.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

*Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.*

*Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался млечный путь
Седые, серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей то сад, надел земельный,
Учеников оставив за стеной,*

Он им сказал: « Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной ».
Он отказался от противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная тень теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша миновала
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, усиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: « Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт
Час Сына Человеческого пробил
Он в руки грешников Себя предаст. »

И лишь сказал, неведомо откуда
Толта рабов, и скотище бродяг,
Огни, мечи, и впереди—Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек,
Но слышит: « Спор нельзя решать железом.
Вложи свой меч на место, человек! »

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И волска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дорожке всех святых.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно, Аминь. »

*Ты видишь, ход веков подобем притче
И может загорется на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.*

*Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты. »*

Труднейшая тема для поэтов—гефсиманское борение Господа Иисуса Христа взято здесь Пастернаком в том ее богословском разрезе, который именуется «КЕНОЗИСМ»; этим богословы обозначают вольное совлечение Иисусом Христом своего божества и предстояния перед Богом ввиду грядущего распятия как бы в качестве обыкновенного человека, каждого из нас.

Глубокий смысл этого стихотворения не только тот, что есть в жизни народов и отдельных людей громовые чудеса, чудеса неотразимые и не подлежащие отрицанию, но и что само имя Божие поражает как верующих так и неверующих, как гром в самое сердце.

ДУРНЫЕ ДНИ

*Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.*

*А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.*

*Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворе небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.*

*И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.*

*Толта на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожидании развязки
И тыкались взад и вперед.*

*И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.*

*Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.*

*И брачное пиришество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху шел.*

*И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечью в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...*

Не нужно особенно настаивать на том, что по замыслу поэта его «Дурные дни» действительно «дурны», не-сказанно ужасны как приговор на муки без исхода тех, кого не только не потрясло чудо воскресения четырехдневного мертвеца, но послужило последним толчком для расправы над Воскресителем.

Из приведенных стихотворений видно, что Борис Пастернак хотя и утонченнейший человек возрождения и знаток своего мастерства, тем не менее вполне вошел в русло литературно-стихотворческой манеры царящей в СССР. Там он вполне свой человек, его поймет и оценит всякий, и всякий отзовется глубочайшими тайниками своей души на его мелодии. Это совсем не значит, что он какой-либо стороной своего творчества чужд и зарубежной молодежи, зарубежному читателю. Наоборот, кажется еще никогда струны арфы Давида прозвучавшей в русской поэзии и прозе так не задели вообще русского читателя, независимо от его положения эмигранта или жителя СССР. И те и другие одинаково будут обязаны этому большому поэту, прозаику и мыслителю лучшими литературно-стихотворческими творениями современности.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Иночество — основа русской культуры и русской поэзии	5
М.В. Ломоносов	21
Г.Р. Державин	27
В.А. Жуковский	38
Вещий Пушкин	47
М.Ю. Лермонтов	57
Религиозно-философская поэзия В.С. Соловьева	67
Борис Пастернак и его поэзия	70



ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙТЕ НАШИ ИЗДАНИЯ:
(Изд. « Жизнь с Богом, » 206, Av. de la Couronne, Bruxelles)

Брошюры :

	<i>б.фр.</i>
Смерти нет	10
В. ИЛЬИН. Арфа Давида в русской поэзии	20
Р. КУРТУА. Что говорят о Боге современные ученые	10
М. ГАВРИЛОВ Ферраро-Флорент. Собор и Русь	5
» Православие и Ферраро-Флорент. Собор	5
» Новое явление миру Пресвятой Богородицы	5
» Духовные основы русской культуры	7.50
» Святой Лев Великий — Папа Римский	7.50
» Тайна Рождества и Успения Божией Матери	7.50
» Ватикан, война и мир	7.50
В. СОЛОВЬЕВ Русская Идея	7.50
С. ТЫШКЕВИЧ Наставление Тихона Задонского по социальному вопросу	5
» Нерасторжимость христианского брака	5
» Наставление о Св. Евхаристии	2
» Католичество	5
» Единство Церкви и Византия	5
» Советское безбожие и Папство	5
А. КАРРЕЛЬ Путешествие в Лурд	7.50
М. ГАВРИЛОВ и С. ТЫШКЕВИЧ Святой Пий X	5
ПАПА ПИЙ XII Апостольское послание к народам России	3
ГРИНЬОН ДЕ МОНФОРТ Тайна Пресвятой Богородицы	5
С. ФРАНК Религия и Наука	7.50
Р. ГУАРДИНИ Познание веры I и II часть	7.50
А. ДОНДЕИН Современный материализм и вера в Бога	7.50
Б. ШИРЯЕВ Религиозные мотивы в русской поэзии	20

Книги :

Спаситель Мира (Евангелие для детей) с иллюстрациями	25
Повесть об одной душе (св. Тереза)	50
Данзас. Католическое богопознание и марксистское безбожие	50
Ф. ЛЕЛОТТ. Решение проблемы жизни	100
В. СОЛОВЬЕВ. Духовные основы жизни	30
Молитвенник « Миром Господу помолимся »	20
Евангелие « Слово жизни вечной » без переплета	25
Евангелие в переплете « пластик » карманного формата	40
Псалтир (русск и славянск яз.) в переплете « Пластик »	50
Акафист Божией Матери с нотами и объяснениями	7.50
Акафист ко причащению св. Христовых Тайн	2.50
Молитвослов « Господу помолимся » (перевод службы лат. обряда)	20

Журналы :

« Жизнь с Богом » Религиозно-семейный журнал. в год	40
« Россия и Вселенская Церковь » в год	60
Большой выбор икон, листовок, открыток, и т.д.	

